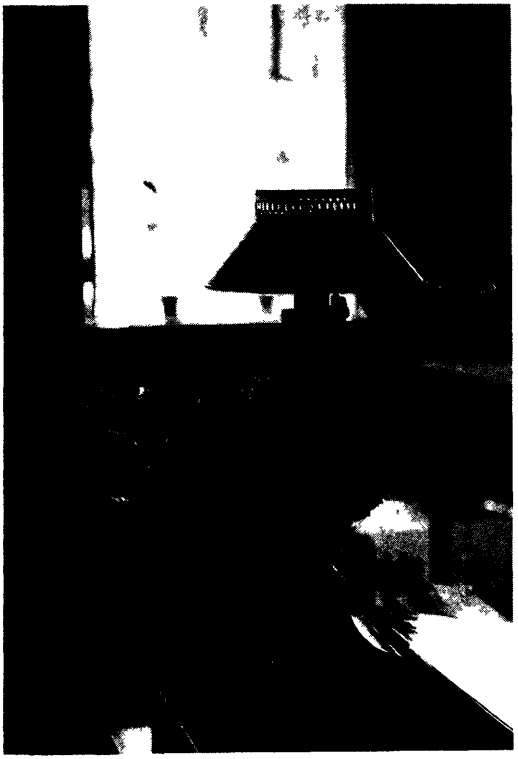
Т. Г. Цявловская

«Храни меня, мой талисман...»



1. ОДЕССА

Воронцова — жена начальника Пушкина по Одессе, имя которого не забудется благодаря эпиграмме:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец (II, 317).

Она бессмертна по-иному Пушкин любил ее Полька по отцу, графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (рожденная графиня Браницкая) была русской по матери (мать ее рожденная Энгельгардт, племянница Потемкина).

Облик Воронцовой воскрешает ее портрет кисти английского художника Лауренса — лучшее из множества ее изображений.

А «свычаи и обычаи» ее возрождаются литературными портретами.

«Ей было уже за тридцать лет, — вспоминает чиновник Вигель, сотрудник Воронцова, — а она имела все право казаться еще самою молоденькою. <...> Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностию В ней не было того, что называют красотою, но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь, улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи» [1].

И это слова человека, к женщинам равнодушного. Какое же впечатление должна была производить Воронцова на Пушкина!

Вторит Вигелю и писатель Соллогуб, знавший Воронцову, когда ей было уже около шестидесяти: «Небольшого роста, тучная, с чертами несколько крупными и неправильными, княгиня [2] Елисавета Ксаверьевна была тем не менее одной из привлекательнейших женщин своего времени. Все ее существо было проникнуто такою мягкою, очаровательною, женственною грацией, такою приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин, герой 1812 года Раевский и многие, многие другие, без памяти влюблялись в княгиню Воронцову» [3].

Замуж вышла она поздно — двадцати семи лет, в 1819 году.

Пушкин увидел ее впервые осенью 1823 года, к которому и относится воспоминание Вигеля. Пушкин жил в Одессе уже два месяца, числясь на службе в канцелярии графа Воронцова, недавно назначенного генерал-губернатором Новороссийского края.

6 сентября приехала и Елизавета Ксаверьевна. Вскоре состоялось знакомство с нею Пушкина.

Следами первых впечатлений от встреч являются его рисунки на полях черновой рукописи главы первой «Евгения Онегина». Потребность постигнуть лицо Воронцовой отвлекает поэта от работы. Осторожно, нащупывая линию, выводит он ее профиль. И тут же перечеркивает его — она не похожа. Он повторяет рисунок рядом, увереннее. Не сразу находит он линию переноси-

цы. Затем вписывает глаз, пририсовывает голову, локоны, чепец с лентой под подбородком, длинную шею [4].

И еще раз рисует Пушкин ее голову (на обороте страницы — среди множества разных портретов).

Вскоре Воронцова перестает показываться в обществе (23 октября она родила сына).

Еще летом увидел Пушкин в Одессе обращавшую на себя всеобщее внимание красавицу Амалию Ризнич.

«...Она была дочь одного венского банкира, по фамилии Рипп, полунемка и полуитальянка, с примесью, быть может, и еврейского в крови. <...> Г-жа Ризнич была молода, высока ростом, стройна и необыкновенно красива. Особенно привлекательны были ее пламенные очи, шея удивительной формы и белизны, и черная коса, более двух аршин длиною. Только ступни у нее были слишком велики. Потому, чтобы скрыть недостаток ног, она всегда носила длинное платье, которое тянулось по земле. Она ходила в мужской шляпе и одевалась в наряд полу-амазонки. Все это придавало ей оригинальность и увлекало молодые и немолодые головы и сердца» [5].

Не мог Пушкин не зарисовать этой эффектной красавицы.

Опираясь на приведенное описание ее внешности и на стих Пушкина «Мадам Ризнич с римским носом», исследователь находит среди рисунков поэта ее портреты, которые идут по рукописям его со времени переезда в Одессу, с конца июля до начала августа 1823 года [6].

Задолго до увлечения Воронцовой в жизнь Пушкина вошла Амалия Ризнич.

Мечтая о близости этой женщины, пишет поэт стихотворение «Ночь» (26 октября 1823 года):

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю...
твоя... твоя!.. (II, 289).

Но вскоре он уже счастлив:

Когда любовию и счастьем утомленный,
Я на тебя гляжу коленопреклоненный,
И ты главу мою обнимешь и нежна <?>
Целуешь поцелуем,
Зачем тогда мрачит —
И в наслажденьи мы тоскуем (II, 934).

Стихотворение должно было строиться (насколько можно судить по нескольким, хотя и разрабатывавшимся, но оставленным стихам) на тонком психологическом наблюдении поэта — ощущении тоски, сопутствующей наслаждению. Но после нескольких вариантов начала, написанного в первых числах ноября 1823 года, оно было оставлено надолго.

11 ноября Пушкин пишет новое стихотворение:

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор:
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?...
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полу-одета,
Зачем его должна ты принимать?...
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю
(II, 300—301).

Эта маленькая драматическая новелла в стихах впервые раскрывает ревность, которую вызывала в Пушкине Ризнич.

К ней же, вероятно, обращено и написанное, может быть [7], тогда же стихотворение:

Е. К. Воронцова.
Скульптура Фуаятье, 1821 г.

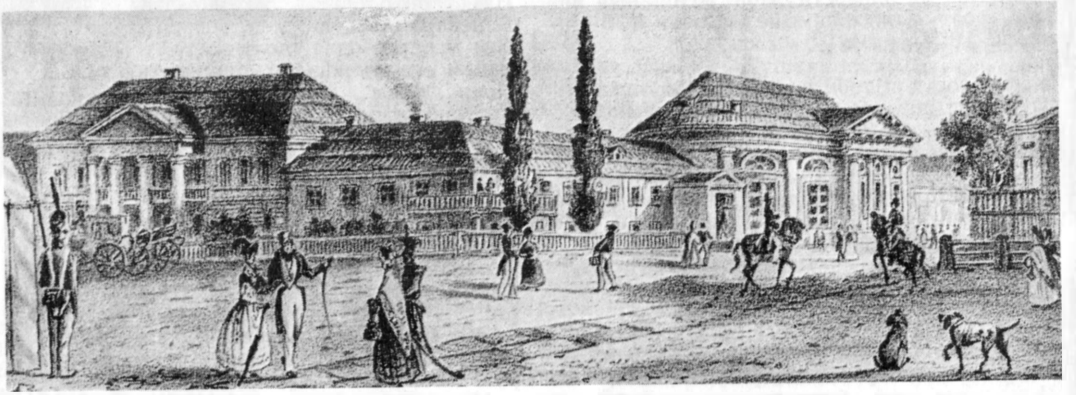
Е. К. Воронцова.
Скульптура Фуаятье, 1821 г.

Е. К. Воронцова.
Скульптура Фуаятье, 1821 г.

Е. К. Воронцова.
Рисунок А. С. Пушкина.

Е. К. Воронцова.
Рисунок А. С. Пушкина.

Е. К. Воронцова. Акварель Тельтцера.



Одесса (около 1823 г.). Дом барона Рено и герцога Ришелье. Литография.

Как наше сердце своенравно!
томимый вновь,
Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой томный взор,
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,
И то, что запрещаешь мне,
Все впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине (II, 304).

К ней же обращены прощальные строки:

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено, — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану <вновь>,
Тебя тоской преследовать не буду,
Про<шедшее> быть может позабуду —
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна.
И многими любима будешь ты (II, 309) [8].

В первые дни ноября, только что закончив главу первую «Онегина», поэт пишет вторую, пишет «с упоеньем», «что уж давно со мной не было», признается он в черновике письма к Вяземскому (XIII, 382).

И тут перед ним возникает облик Воронцовой. Он рисует ее полуфигуру — в открытом платье, с локонами надо лбом и у ушей [9].

Позднее, вероятно уже после обновленных впечатлений, когда она вернулась к общению с людьми, Пушкин набрасывает ее новые изображения [10]. Вот голова ее. Еле намечена улыбка. Рядом — профиль. неудавшийся, он зачеркнут. Ниже — поясной портрет — она в чепце, в шали, накинутой на плечи. Лицо строгое [11].

Не ее ли профиль, опять неудавшийся и тут же перечеркнутый, находится на листе, на котором Пушкин нарисовал четыре портрета одной и той же прекрасной женщины [12]?

Постоянно бывает Пушкин в доме у Воронцовых, среди ее гостей (она и муж ее принимают гостей каждый у себя), ежедневно обедает у них — «в столовой к обеду сходились вместе» [13].

Впечатления от Воронцовой по-прежнему отлагаются в рисунках Пушкина. Она угадывается в женской фигуре, изображенной со спины [14].

Е К Воронцова Рисунок А С Пушкина

На одном из листов тетради мы видим целую россыпь ее портретов [15]. Лицо, голова, профили, плечи с ожерельем на шее... Образ ее преследует его. Он хочет удержать ее черты в сознании, на бумаге. В иных профилях ему удается передать обаяние ее женственности.

Здесь ритм работы нарушается. Заключительные строфы главы второй — это уже не единый поток, а разрозненные четверостишия [16]. Искусство отступило перед мечтаниями, поэзия — перед графикой.

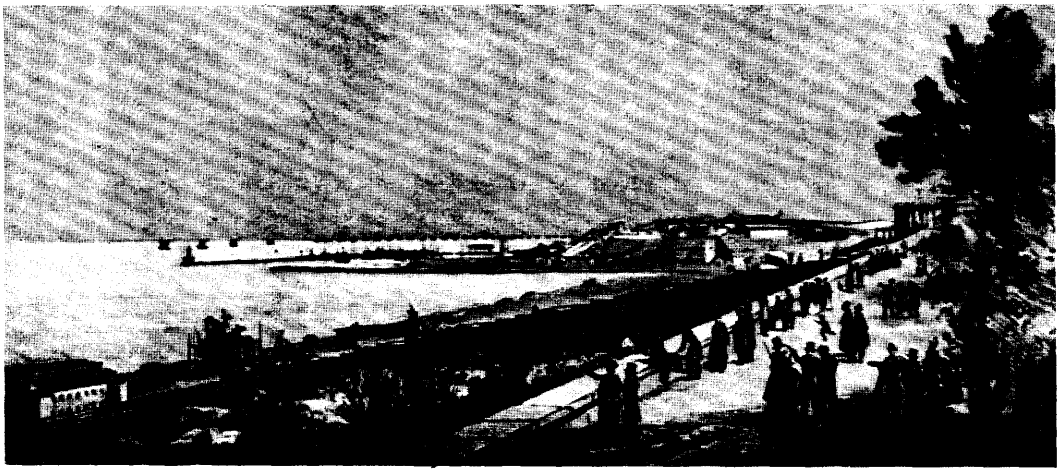
Тут же среди черновиков романа рождается стих:

Приметы верные любви.

Поэт преобразует его в двустишие:

Я узнаю сии приметы,
Сии предвестия любви (VI, 300).

Иной предположит, что, быть может, оно имеет отношение к дальнейшему развитию «Онегина» [17]. В ранней стадии романа автор думал, что Евгений влюбится в Татьяну с первой встречи. В черновых рукописях главы третьей есть такая строфа:



Одесса в начале XIX века. Современная гравюра по рисунку с натуры Кленце.

В постеле лежа — наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань вечерних размышлений
В уме Татьяне посвящал —
Проснулся он денницы ране,
И мысль была все о Татьяне.
Вот новое, подумал он —
Неужто я в нее влюблен?
Ей-богу это было б славно,
Себя уж то-то б одолжил.
Посмотрим — и тотчас решил
Соседей навещать исправно,
Как можно чаще, всякой день,
Ведь им досуг, а нам не лень
(VI, 307—308) [18].

Не говоря уже о том, что маловероятно, чтобы поэт так заблаговременно, так изолированно сложил бы эти два стиха для размышлений Онегина, — похожа ли на краткие, точно бы вырванные из живой речи, иронические реплики Евгения раздумчивая интонация этого двустишия?

По интонации оно близко лирике Пушкина, и становится ясным — это личное ощущение поэта, набросок к лирическому стихотворению. Оно и влилось впоследствии — в несколько измененном виде — в стихотворение «Признание»:

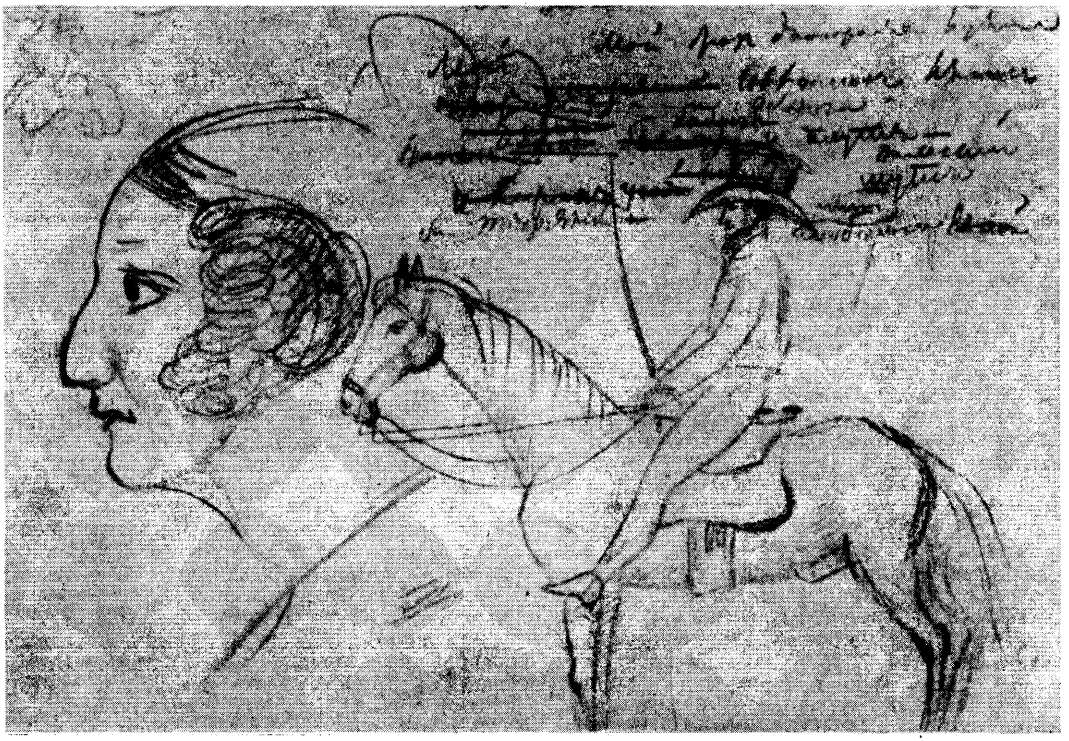
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей (III, 28) [19].

А если так, то можно ли сомневаться, что это первое выражение новой влюбленности связано с той женщиной, портреты которой так настойчиво рисуются вслед за двустишием [20].

Здесь же, с краю листа, — профиль Воронцова, отлично поддерживаемый воспоминанием о нем современника: «В нем, воспитанном в Англии чуть не до 20-летнего возраста, была «вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил» [21], так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах своих, так же горд, холоден и властителен, «in foro interno» [22], как любой из сыновей аристократической Британии. <...> И наружность его поражала своим истинно барским изяществом. <...> Есть известный его портрет (весьма искусно воспроизведенный гравюрою), писанный знаменитым английским живописцем чуть ли еще не до 1820 года; граф Воронцов сохранял с ним сходство до поздних лет. <...> Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие, длинные губы с этою вечно игравшею на них ласково-коварною улыбкою...» [23]

В чеканном рисунке Пушкина мы видим эти «словно отточенные резцом» черты, эти «тонкие, длинные губы».

Зимой 1823/24 года Одесса жила полной светской жизнью. 12 декабря у Воронцо-



Рисунки Пушкина:
портрет Амалии
Ризнич, Наездник.

вых — большой бал, 25 декабря — большой обед, 31 декабря — маскарад, 6 января — маскарад у Ланжеронов. 13 января — публичный благотворительный маскарад в театре, устроенный Воронцовой и Ольгой Нарышкиной. 12 февраля — второй маскарад у Воронцовых. Пушкин бывает, вероятно, на всех этих вечерах.

25 января Воронцов уезжает в Кишинев. Вернулся он через две недели, 9 февраля [24].

Приступая к главе третьей «Онегина», Пушкин записывает сбоку от I строфы несколько заметок:

8 fevr. La nuit
1824
—
joué avec Sch. et Sin.
— perdu
soupé chez C.E.V. [25]

Пустых бытовых мелочей Пушкин не записывал. Он заносил в свои тетради события, имеющие значение для его душевной жизни, — записка от Марии Раевской, письмо от Наталии Гончаровой — первое после ожидавшегося им разрыва, даты «дней счастливых», смерть няни; отмечал он и даты общественных событий: смерть Наполеона, смерть Байрона, казнь декабристов, коронацию.

Ужин у Воронцовой 8 февраля знаменовал какой-то этап отношений Пушкина с нею.

О карточной игре Пушкин записал, вероятнее всего, для того, чтобы запомнить весь вечер — по мелочам, — подобно тому как в записи 1822 года заметка «1 июля день счастливый» предварялась строкой: «После обеда во сне видел Кхбкр» [26].

Тогда же, 8 или 9 февраля, среди черно-

виков V строфы главы третьей появляются рисунки, среди которых два изображения Воронцова: профиль и погрудный портрет графа в генеральском мундире. Пушкина тревожит какая-то мысль о нем... Не удовлетворенный сходством, он легонько перечеркивает обе неудавшиеся линии профиля [27].

На другой день после второго маскарада у Воронцовых приехал в Одессу кишиневский приятель Пушкина Липранди, нередко туда наезжавший, на этот раз вместе с другим кишиневским другом Пушкина, Н. С. Алексеевым. «В час мы нашли Пушкина еще в кровати, — вспоминал Липранди, — с поджатыми по обыкновению ногами и что-то пишущим. Он был очень не в духе от бывшего маскарада; рассказал некоторые эпизоды и в особенности был раздражен на (тогда коллежского асессора) барона Брунова (ныне нашего посла в Лондоне) и на улыбку довольствия графа» [28]. Следует рассказ о подхалимской выходке Брунова по отношению к Воронцову.

Много причин было для мрачного настроения Пушкина — и тон Воронцова с ним, и, кажется, разрыв с Ризнич, и неясное отношение к нему Елизаветы Ксаверьевны.

Не просты были возможности для общений с нею: супруга наместника края всегда была на виду. Встречи с глазу на глаз были возможны урывками. Правда, муж нередко отлучался из Одессы — ради поездок по краю, но из Киева вернулся Александр Раевский [29] (12 февраля). Влюбленный в Елизавету Ксаверьевну, он свободно входил в ее дом в качестве родственника — он приходился Воронцовой троюродным племянником.

О том, что́ это был за человек, лучше всего говорит его отец, генерал Н. Н. Раевский, благороднейшая, достойнейшая личность. Вот что пишет он старшей дочери своей Екатерине в 1820 году: «С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку [30] и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу [31]. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для женского сердца. Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов» [32].

У Пушкина были с Александром Раевским давние отношения, зародившиеся, быть может, еще в Петербурге и укрепившиеся во время пребывания (с семейством Раевских) на Северном Кавказе, а затем в Каменке, в Киеве и, наконец, в Одессе.

Впечатлительный и восприимчивый поэт совершенно подпал под влияние этого скептика. Язвительный Раевский в самом прямом смысле подавил волю Пушкина.

Вот как рассказывает об этом хорошо знававший и Пушкина и Раевского адъютант Николая Раевского и приятель Льва Пушкина:

«В Одессе в одно время с ним (Пушкиным. — *Т. Ц.*) жил Александр Раевский, старший брат Николая. Он был тогда настоящим «демоном» Пушкина, который изобразил его в известном стихотворении очень верно. Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании:

Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал.
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел,
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел!

Я испытал это обаяние на самом себе. Впоследствии, в более зрелых летах, робость и почти страх к нему ослабели во мне, и я чувствовал себя с ним уже как

равный с равным. Пушкин в Одессе хаживал к нему обыкновенно по вечерам, имея позволение тушить свечи, чтоб разговаривать с ним свободнее впотьмах. <...> Пушкин сам вспоминал со смехом некоторые случаи подчиненности своему демону до того уже комические, что мне даже казалось, что он пересаливает свои россказни. Но потом я проверил их у самого Раевского, который повторил мне буквально то же» [33].

Что «Демон» восходит к образу Раевского, свидетельствуют хором современники, знавшие его.

Сам же Пушкин тяготился молвой о связи его стихотворения с именем Александра Раевского. Наконец, намек на то, что в стихотворении изображен реальный человек, появился в печати: «Демон Пушкина не есть существо воображаемое: автор хотел представить развратителя, искушающего неопытную юность чувственностью и лжемудрствованием» [34].

Тут уже Пушкин решил было даже выступить с опровержением этого суждения и написал заметку, объясняющую идею «Демона». Заметка эта была написана якобы третьим лицом. Впрочем, она осталась в рукописи поэта:

«[Думаю, что критик ошибся.] Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную.

В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Малопомалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство [мучительное], но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гёте называет вечного врага человечества **духом отрицающим**. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух **отрицания или сомнения** и в сжатой картине начертал [отличительные признаки и] печальное влияние [оного] на нравственность нашего века?» (XI, 30).

Однако едва ли все же это произведение, которому Пушкин придавал исключительное значение [35], создавалось вне воздействия тягостной дружбы человека, все отрицавшего. Не забудем и того, что заметка эта была написана в Михайловском в 1825 году (в феврале — марте), когда поэт уже не сохранял никаких иллюзий относительно нравственного облика Раевского.

Е. К Воронцова Три портрета Рисунки А. С. Пушкина.

В Одессе же Раевский был одним из самых близких Пушкину людей. Вот как рассказывает о нем Ф. Ф. Вигель:

Е. К. Воронцова (ее портрет в правом верхнем углу). Рисунок А. С. Пушкина.

Е. К. Воронцова. Рисунок А. С. Пушкина.

«В нем не было честолюбия, но из смешения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер. Не подобные ли чувства святое Писание приписывает возмутившимся ангелам? Я напрасно усиливаюсь здесь изобразить его: гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой демон». Но подробности о нем могут более объяснить действия его, о коих приходится мне говорить. <...> В Молдавии, в самой нежной молодости, говорят, успевал он понапрасну опозоривать безвинных женщин; известных по своему дурному поведению не удостоивал он своего внимания: как кошка, любил он марать только все чистое, все возвышенное, и то, что французы делали из тщеславия, делал он из одной злости. Я не буду входить в тайну связей его с графиней Воронцовой[36]; но, судя по вышесказанному, могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце и на чувства.

Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. <...> Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина не трудно было привлечь миловидной Воронцовой[37], которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспа-

Вторая глава «Евгения Онегина». Шесть портретов Е. К. Воронцовой. Слева — портрет М. С. Воронцова.

лять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его» [38].

«Несмотря на скромность Пушкина, нельзя было графу не заметить его чувств. Он не унизился до ревности, но ему казалось обидно, что ссыльный канцелярский чиновник дерзает подымать глаза на ту, которая носит его имя. И боже мой! Поэтическая страсть всегда бывает так не опасна для предметов, ее возбуждающих; она скорее дело воображения и производит нелогкость, робость, которые уничтожают возможность успеха.

Как все люди с практическим умом, граф весьма невысоко ценил поэзию; гениальность самого Байрона ему казалась ничтожной, а русский стихотворец в глазах его стоял едва ли выше лапландского. А этот водворился в гостиной жены его и всегда встречал его сухими поклонами, на которые, впрочем, он никогда не отвечал. Негодование возрастало, да и Пушкин, видя явное к себе презрение начальника, жестоко тем обижался и, подстрекаемый Раевским, в уединенной с ним беседе часто позволял себе эпиграммы. Не знаю как, но, кажется, через Франка все они доводимы были до графа» [39].

«Еще зимой, чутьем слышал я опасность для Пушкина, — вспоминает Вигель, — не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского — с неверным другом Яго. Он только что засмеялся» [40].

Как развивались отношения Пушкина с Воронцовой — неизвестно. Не раз случалось, что встречи прекращались. Так, вероятно, 12 марта [41] выехал Пушкин в Кишинев — повидаться с Инзовым, который огорчался тем, что Пушкин перешел от него к Воронцову.

Возвратился Пушкин в Одессу спустя три недели [42]. Графини Воронцовой в городе он не застал. Она еще дней за десять уехала в Белую Церковь к матери. Вернулась числа 18—19 апреля [43].

В первых числах мая покидала Одессу Амалия Ризнич. Она давно уже тяжело болела изнурительной лихорадкой, усилившейся после родов. К весне ей стало еще хуже. Врачи посылали ее в Швейцарию, а на зиму — в Италию [44].

Прощание Пушкина с нею отозвалось в одном из самых совершенных созданий его лирики. Произошло это шесть лет спустя, во время трехмесячного пребывания в Болдине. Окруженный карантинами, отрезанный от мира, готовясь к браку, поэт «отрывал» себя от когда-то дорогих ему женщин.

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой,
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где под скалами дремлют воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой... (III, 257) [45].

Это о Ризнич, вспоминая ее в Михайловском, писал поэт в «Путешествии Онегина»:

Там хладнокровного купца
Блистает резвая подруга (VI, 464).

(Муж ее, Иван Ризнич, был негоциантом, сербом, жившим в Одессе.)

И в «Путешествии...» — ее живой, пленительный портрет:

А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке, с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
В просонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит (VI, 205).

М С Воронцов. Портрет работы Т. Лауренса.

На полях черновика этой строфы набросан изящнейший рисунок — молодая женщина в длинном платье, с откинутой головой, подымается в карету. Мы догадываемся, что это зарисовка по памяти Амалии Ризнич, отъезжающей из театра [46]. Рисунок, как всегда, предшествует связанному с ним тексту: на следующей странице — строфа, описывающая разъезд после оперы.

Называя ее имя, поэт откровенно пишет:

Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног Амалии прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

Впрочем, тут же, в беловой рукописи, имя ее тщательно зачеркивается и заменяется обобщенным:

У ног любовницы прекрасной...
(VI, 57 и 578).

А затем создаются пронзительные по неистовой силе чувства и художественного выражения строфы:

Да, да, ведь ревности припадка
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет.
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж конечно без боязни
Взойдет на пламенный костер,
Иль шею склонит под топор.

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень! (VI, 611).

Эти строфы из главы шестой — лирическое отступление после эпизода о ревности Ленского — написаны в Михайловском, по-видимому, в ноябре 1826 года. Печатать их Пушкин не стал, но на пропуск указал цифрами, обозначающими строфы: XV, XVI.

«Через несколько дней по приезде моем в Одессу, — вспоминает Вигель, прибывший из Кишинева в ночь на 16 мая 1824 года [47], — встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть

для него унизительнее; сим ударом надеялся граф Воронцов поразить его гордыню [48]. Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе [49]. Он побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце», а через полминуты прибавил «также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок» [50].

Дикая реакция Воронцова на попытку Вигеля заступиться за Пушкина, так же как и самое решение послать Пушкина в эту унизительную поездку, были вызваны, конечно, обострившимися отношениями Пушкина с Воронцовым, ревностью последнего. И доброхоты могли донести что-нибудь своему начальнику, и от него самого, быть может, не укрылось что-то новое во взаимоотношениях жены его и Пушкина.

Получив 22 мая предписание выехать на места распространения саранчи, Пушкин пишет письмо начальнику канцелярии Воронцова Казначееву:

«П<очтеннейший> А<лександр> И<ванович>. Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, в праве ли <я> отозваться на предписание е<го> с<иятельства>. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно на счет моего положения.

7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня <не> потеряны [51]. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей [52], обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 в. от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова, так же как и вашим, как и мнением всякого честного человека.

Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Семеновичу: если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства; но, чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной.

Знаю, что довольно этого письма, чтоб меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов; но чувствую, что, переменив мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.

Еще одно слово: Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктора» (XIII, 92—94).

Письмо это — в сущности, высказанные вслух мысли о себе. Обращаясь через Казначеева к Воронцову, Пушкин не делает никаких категорических выводов. Он кончает такими неделовыми словами: «Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая, верно, не продлится...» (XIII, 94).

Однако письма этого он, очевидно, не послал (в беловом виде оно неизвестно). Да и в следующем письме Казначееву, написанном несколько позднее, Пушкин говорит о тех же вопросах почти что то же, только на французском языке.

Во время писания черновика письма, 22 мая, Пушкин на том же листе рисует. Здесь и фигура Меркурия работы итальянского скульптора Джованни да Болонья, и голова Павла I, и знакомая мечта — Воронцова, ее профиль, портрет по грудь (профиль в нем зачеркнут — он не удался), ножки в бальных туфельках, вся фигура в рост. И на обороте листа — в тот же день или в один из следующих — на полях строф XXX и XXXII главы третьей «Онегина» и «Разговора книгопродавца с поэтом» — вновь возникают профиль Воронцовой и ножки в бальных туфлях [53].

«На саранчу» Пушкин все же поехал — по совету «его любезного друга» Александ-

ра Раевского, который, как утверждает Вигель (со слов Франка, ближайшего Воронцову человека), и Воронцову внушил идею послать Пушкина в эту командировку [54]. Поручено ему было объехать Херсонский, Александрийский и Елизаветградский уезды [55]. Получив 23 мая 400 р. ассигнациями «на прогоны» [56] (на почтовых лошадей), Пушкин отправился в путь. В Херсоне он побывал [57]. О дальнейшем путешествии точных данных нет.

Вернулся 28 мая. На следующий день М. Ф. Орлов пишет жене в Киев: «Пушкин был послан на саранчу. Он воевал с нею и после весьма трудной кампании вчера вернулся, отступив пред несметным неприятелем» [58].

По преданию [59], написал язвительный отчет в стихах:

Саранча
Летела, летела
И села;
Сидела, сидела,
Все съела,
И вновь улетела.

Остроумный экспромт Пушкин мог сказать в канцелярии, но едва ли позволил бы он себе написать такой бесцеремонный отчет [60].

Вот как рассказывает об этих событиях Вигель: «По совету сего любезного друга (Раевского. — *Т. Ц.*) Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время под диктовкой того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (aux travaux forcés), но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просит об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде» [61]. Вот эту-то переписку с Воронцовым Пушкин и назвал «полемической». Прошение об отставке Пушкин подал в начале июля на высочайшее имя, мотивируя просьбу слабостью здоровья [62].

Между тем отношения Пушкина с Елизаветой Ксаверьевной развивались. Она увлеклась вспыхнувшим в поэте страстным чувством.

Пушкин говорил о своих ночных с нею свиданиях Вере Федоровне Вяземской [63], поверенной в его сердечных делах (с 7 июня 1824 года она жила в Одессе, куда привезла к морю своих больных детей).

Свидания в доме были затруднительны. Влюбленные ищут уединения в другом месте.

Под пером поэта зарождаются стихи:

Есть у́ моря под ветхою скалой
Уединенная пещера.
Она полна прохладной темнотой (II, 992).

Тут же насыщается пейзаж лирическим чувством:

Под скалой
Пещера дикая таится,
Обитель неги, в летний зной
Она прохладной темнотой
[Полна] (II, 993).

Через три страницы той же рабочей тетради Пушкин возвращается к этой теме:

Пещера дикая видна.
Она полна прохлады влажной.
В ней плещут волны — и всегда
Не умолкает гул протяжный (II, 993).

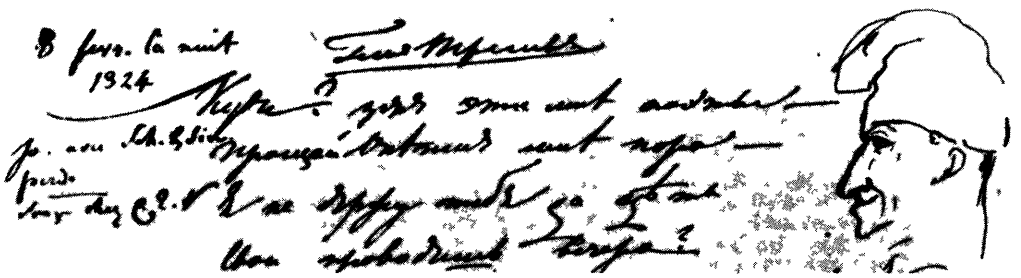
Наконец отливается четверостишие, живописующее дорогое поэту прибежище:

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный (II, 472).

Наброски эти, написанные в конце мая — начале июня, являются первыми стихами после двустишия «Я узнаю сии приметы,/ Сии предвестия любви...», которые можно уверенно отнести к Воронцовой.

На следующем листе тетради поэт дважды рисует женскую руку, играющую на рояле. Нам, кажется, знакомы эти длинные, изогнутые пальцы — не их ли видели мы на портретах Воронцовой [64]? Пушкин слушал, очевидно, ее игру [65]. На обороте листа с этими рисунками находится черновик второго письма Казначееву, написанного после подачи прошения об отставке.

В эти же дни [66] распространилась эпи-



Запись об ужине
у Воронцова — на полях
рукописи третьей главы
«Евгения Онегина»
Справа — портрет Вольтера

грамма Пушкина на Воронцова «Полу-милорд, полу-купец »

Могла она дойти и до Елизаветы Ксаверьевны. Именно этим и можно объяснить внезапное отчуждение ее от Пушкина.

«После известной его эпиграммы на ее мужа (в которой потом сам он раскаивался) конечно обращались с ним очень сухо. Перед каждым обедом, к которому собиралось по нескольку человек, княгиня-хозяйка обходила гостей и говорила каждому что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом. «Что нынче дают в театре?» Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положа руку на сердце (что он делывал, особливо когда отпускал остроты), с улыбкою сказал: «La sposa fedele», contessa!» [67]. Та отвернулась и воскликнула: «Quelle impertinence!» [68]

«La sposa fedele» — «Верная супруга» — опера-буфф композитора Джованни Пачини (1796—1867), поставленная впервые в 1819 году в Венеции и в Милане [69]. По-видимому, ставилась она и в итальянской опере в Одессе в 1824 году [70].

Из негодующего восклицания Воронцовой ясно, что она отнесла иронию Пушкина на свой счет. Вспышка Воронцовой не связывалась с сюжетом оперы (там изображается супруга действительно верная) [71]. Ее оскорбил намек Пушкина, а в нем прорвалась его ревность к Раевскому.

Спустя несколько дней, 14 июня, Воронцова уезжала в большом обществе из Одессы в Крым Гости — человек около тридцати — ехали пожить у Воронцовых в Гурзуфе Плыли морем на их яхте.

Еще зимою зазывал Пушкин в Одессу Вяземского, имея в виду эту поездку: «Что, если б ты заехал к нам на Юг нынче весною? Мы бы провели лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин. Приезжай, ей-богу веселее здесь, чем у вас на Севере» (XIII, 83).

Но если в декабре Пушкин мог рассчитывать быть гостем Воронцовых, то сейчас об этом и речи не могло быть.

Отъезд любимой женщины он сопроводил стихами:

К о р а б л ю
Морей [красавец] окриленный!
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.
Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны [незапным] колыханьем
Ее груди не утомляй (II, 315).

Среди зачеркнутых вариантов были выразительные заклинания:

Храни, храни залог бесценный...
*
О, возврати залог бесценный...

Первоначально предполагалось еще одно четверостишие, к которому намечались наброски:

И в пристани
*
Пускай она услышит
Привет
*
Привет
Услышит в пристани она

*

Пускай услышит
Об милых счастливую весть...
(II, 829—830).

Это о больных детях Воронцовой, гостящих у бабушки в имении Александрия под Белой Церковью.

Вернулась Елизавета Ксаверьевна из Гурзуфа в Одессу 24 июля [72]. Вместо предполагавшихся двух месяцев она провела в Крыму полтора, оставив гостей с мужем. Она должна ехать к детям в Александрию.

Одновременно, 24 июля, Воронцов отправляет из Симферополя градоначальнику Одессы графу Гурьеву предписание: объявить Пушкину о высочайшем повелении исключить его из списка чиновников Коллегии иностранных дел и отправить немедленно на жительство в Псковскую губернию. «Если Пушкин даст подписку, что отправится прямо к своему назначению, не останавливаясь нигде на пути к Пскову, то дозволить ему ехать одному. В противном случае отправить его с надежным чиновником» [73].

«Мы продолжаем ничего не знать о судьбе Пушкина, — пишет Вяземская мужу 27 июля. — Даже графиня, она знает, как и ты, что он должен покинуть Одессу. Ее муж сказал просто, что для Пушкина ничего нельзя сделать в Одессе, но мы не знаем, чем это кончится» [74].

29-го Пушкина вызывает градоначальник. Он объявляет ему об отставке и о том, что его высылают в псковскую деревню к матери. Пушкину дают подписаться под следующим обязательством:

«Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от г-на Одесского градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на пути по своему произволу; а по прибытии в Псков явиться к г-ну гражданскому губернатору. Одесса. 29 июля 1824».

И вторую бумажку подписывает Пушкин:

«По маршруту от Одессы до Пскова исчислено верст 1621. На сей путь прогонных на три лошади триста восемьдесят девять руб. четыре коп.

получил коллежский секретарь
Александр Пушкин» [75].

В тот же день Гурьев рапортовал Воронцову:

«Вследствие повеления вашего с<иятельст>ва о коллежском секретаре Пушкине, имею честь донести:

высочайшая государя императора воля о нем мною лично ему объявлена. Он дал подносимую при сем подписку и завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения по числу верст 1621 на три лошади выдано ему денег 389 рублей 4 коп.

Об отъезде отсюда Пушкина я вместе с сим извещаю г-на псковского гражданского губернатора.

Генерал-майор граф Гурьев.

Маршрут сей до Киева не касается» [76].

Смысл последней строки, собственноручной приписки Гурьева видели в том, что «Пушкин был знаком с многими поляками из Киевской губернии» [77]. К этому должно прибавить, что Киев был местом средоточия офицеров, помещиков и других деятелей, находящихся под надзором. Так или иначе, Гурьев постарался обрадовать Воронцова своей догадливой распорядительностью.

Подавая в отставку, Пушкин рассчитывал остаться в Одессе и вести там независимый образ жизни. Иначе не объяснить того, почему он был так ошеломлен приказом о немедленном выезде в Псковскую губернию. Вяземская вспоминала, что, «когда была решена его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека» [78].

И Пушкин и Вяземская старались себе объяснить, чем была вызвана столь крутая мера в ответ на прошение Пушкина об отставке.

Вначале Вера Федоровна осуждала действия Пушкина, которые, по ее мнению, привели его к тому, что он решил подать в отставку. «Ничего хорошего не могу сказать тебе о племяннике Василия Львовича, — писала она мужу 13 июня. — Это совершенно сумасшедшая голова, с которою никто не может совладать. Он натворил новых проказ («nouvelles farces»), из-за которых подал в отставку. Вся вина — с его стороны. Мне известно из хорошего источника, что отставки он не получит» [79].

«Новые проказы» — это, быть может, то же, о чем говорил И. И. Пущин со слов Пушкина, «некоторые смелые его бумаги по службе» [80], «полемическая переписка» с Воронцовым, пересказанная Вигелем. Но скорее под «новыми проказами» следует понимать эпиграмму на Воронцова «Полумилорд, полу-купец...»; вот как пишет далее Вяземская: «Я делаю все, что могу, чтобы успокоить его, браню его от твоего имени, уверяя его, что, разумеется, ты пер-

А. Н Раевский.
Неизвестный художник.
1821 г. Масло.

вый признал бы его виноватым, так как только ветреник мог так набедокурить. Он захотел выставить в смешном виде важную для него особу и сделал это; это стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не могли больше смотреть благосклонно».

Однако, пообщавшись с Пушкиным, Вяземская поражается его умом и огорчается горячностью и противоречивостью в его мыслях и настроениях: «Какая голова и какой сумбур в этой бедной голове!» — пишет она мужу через десять дней [81].

Возможность грозящей Пушкину высылки проскальзывает впервые в письме Веры Федоровны к мужу от 18 июля: «Хороша я буду, если Пушкин покинет Одессу: у меня здесь, кроме него, нет никого ни для общества, ни для того, чтобы утешать меня, ни для разговоров, прогулок, спектаклей и пр.» [82].

Мысли о возможности отъезда Пушкина из Одессы могли возникнуть под впечатлением письма Вяземского (от 10 июля): «...каламбур сообщи Пушкину, если он еще у вас!» Далее Вяземский рассуждает: «Эх, он шалун! Мне страх на него досадно, да и не на его одного! Мне кажется, по тому, что пишут мне из Петербурга, что это дело криво там представлено. Грешно тем, которые не уважают дарования даже и в безумном! Дарование все священно, хотя оно и в мутном сосуде! Сообщи и это Пушкину: тут есть ему и мадригал и эпиграмма» [83].

Но на другой день (19 июля) Вяземская и Пушкин уже встревожены: «Почему ты так темно говоришь нам о деле Пушкина? Отсутствие графа Воронцова служит причиной, что мы ничего не знаем. Как могло это дело плохо обернуться? Он виноват только в ребячестве («enfantillages») и в том, что не без оснований обиделся на то, что его послали ловить саранчу, и то он не ослушался. Он съездил туда, а вернувшись, подал в отставку, потому что его самолюбие было затронуто. Вот и все. Когда же наконец, государи будут действительно знать, что у них происходит...» [84].

Тут уж Вяземская, по-прежнему признавая неуместность ребячества Пушкина, стоит за него горой. Ее слова явно отражают пушкинское состояние, его освещение событий.

Впоследствии, уже с холодной головой, Пушкин объяснял разными причинами свою высылку. «Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню, — писал много позднее Пущин, вспоминая разговор с ним в Михайловском 11 января 1825 года, — он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова **из ревности:** думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии» [85].

Но это потом. А теперь над ним висит высылка...

Пушкин задумывает бежать из России.

С раздражением, не улегшимся через четыре месяца после отъезда В. Ф. Вяземской из Одессы, пишет М. С. Воронцов А. Я. Булгакову в Москву: «...Что касается княгини Вяземской, то скажу Вам (но между нами), что наша страна еще недостаточно цивилизована, чтобы оценить ее блестящий и острый ум, которым мы до сих пор еще ошеломлены. И затем, мы считаем, так сказать, неприличным ее затем поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и озорником («ce fou et polisson») Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков.

Одесса 1820-х годов.
Литография.

Вы гораздо достойнее нас наслаждаться ее обществом, и мы Вам предоставляем его с удовольствием. К счастью, здешние врачи нашли, что климат Одессы благоприятен только для ее детей. Я вполне того же мнения» [86].

О том, как задумывалось бегство, и о том, что в этом замысле участвовала и графиня Воронцова, выясняется из письма А. Я. Булгакова к брату, написанного год спустя, 12 июня 1825 года, со слов самого Воронцова: «Воронцов желал, чтобы сношения с Вяземскою прекратились у графини: он очень сердит на них обеих, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом. Вяземская хотела поддержать его бегство из Одессы, искала для него денег и способы отправить его морем. Это ли не безрассудство!» [87].

Как известно, плана этого Пушкин не осуществил. Вот как пишет он сам об этом в стихотворении «К морю»:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!

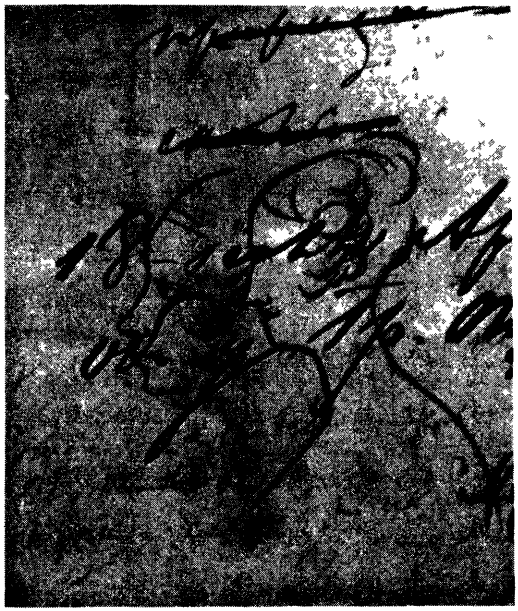
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя;
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я... (II, 332).

Последние дни в Одессе были для Пушкина очень значительны. Он сделал памятные заметки о них в календаре — в маленьком французском альманахе для дам на 1824 год [88]. Книжечка эта была, по всей вероятности, подарком Воронцовой [89]. И записи Пушкина, почти без исключения, были связаны с нею [90]. Они сделаны на нескольких листках календаря.

На майском листке Пушкин записывает: «26 voyage, vin de hongrie» (то есть путешествие, венгерское вино).

26 мая — это день рождения Пушкина. Он провел его в вынужденной поездке, на борьбе с саранчой. Пил вино, может быть, в одиночестве...

На июльском листке — заметки о последних днях в Одессе.



Е. К Воронцова

Записана дата — 28-е, и только.

29-е. В этот день Пушкин был у градоначальника, который объявил ему о высочайшем повелении исключить Пушкина со службы и отправить его в Псковскую губернию, где и будет он состоять под наблюдением местного начальства. Дав подписку о немедленном выезде, он кинулся к Воронцовой, от нее, потрясенный, — к Вяземской.

Записана дата — 30-е.

Возле дат 29-го и 30-го поставлены черточки. Эти условные пометы обозначают, вероятнее всего, интимные свиданья [91].

Под датой 30 июля записано: «30 — turco in Italia». Этой записью отмечено посещение театра — оперы Россини «Турок в Италии» [92].

Едва ли провел бы Пушкин последний вечер в Одессе в театре, если бы там не было Воронцовой. Но решился ли бы он присутствовать в ложе супруги генерал-губернатора, получив накануне приказ о высылке и обязавшись «без замедления отправиться к месту назначения»? Впрочем, вспомним:

А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от т е м н ы х лож
И слава богу от вельмож
Уехал в тень лесов тригорских (VI, 492 и 505).

Последняя запись на июльском листке календаря: «31 départ» (то есть — 31 отъезд).

В каком состоянии уезжал Пушкин, мы узнаем из большого письма Веры Федоровны Вяземской к мужу Написано оно 1 августа [93].

«Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой. Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности [94] из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть основания прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны [95]. Он умоляет тебя не писать ему, дело в том, что один человек оказался скомпрометированным из-за того, что наш друг написал на чужом письме, обращенном к нему, его адрес, и хотя он с этим человеком совершенно не был знаком, последнего допрашивали о его отношениях с нашим другом. Я уверена, что ты не покинешь его в несчастии, но пиши и изъясняйся в своих письмах так, как если бы ты был его худшим недругом; ты всегда считал себя слишком бесхитростным, чтобы это делать, но принеси эту жертву дружбе, потому что единственная радость, которая останется бедному Пушкину, похороненному в глуши возле уездного города Порхова [96] в Псковской губернии, это получать изредка известия, чтобы не умереть окончательно нравственной смертью. Полюбопытствуй, хорошо ли приняли его родители, упрекать его в чем-либо было бы бессмысленно; в чем, впрочем, можно было бы упрекнуть его, раз он не знает за собой иной вины, как то, что он подал в отставку? Я обещала изредка писать ему. Я проповедую ему покорность судьбе, а сама не могу с ней примириться, он сказал мне, поки-

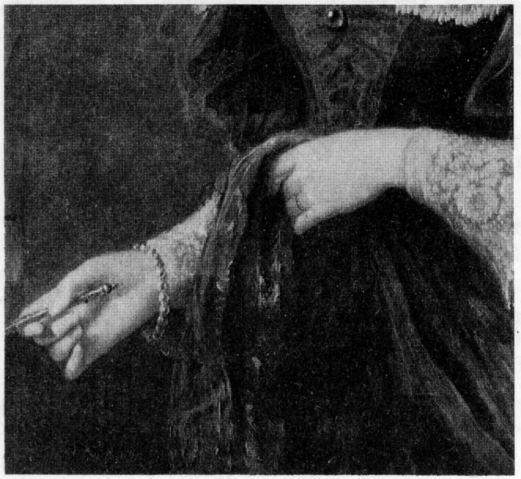
Слева — Амалия Ризнич,
справа —
Е К. Воронцова
Рисунки А. С Пушкина

дая меня, что я была единственной женщиной, с которой он расстается с такою грустью, притом что никогда не был в меня влюблен. Это обрадовало меня, потому что я тоже испытываю к нему дружбу, тем более нежную, что он несчастен, а это особенно на меня действует; хотелось бы, чтобы это подействовало так же и на его мать.

Дети [97] здоровы, особенно Николенька. <...> Но решительно я думаю, что надо их оставить в Одессе, потому что путешествие очень бы их растревожило. Я увижу по твоим письмам, на что я должна решиться, во всяком случае, графиня Воронцова берет на себя моих детей, я найму несколько комнат против нее, чтобы она могла ходить туда в те же часы, что и доктор, она говорит, что будет приходить туда два раза в день и будет вникать во все мелочи, она слишком хорошая мать, чтобы не заботиться о чужих детях, раз они ей поручены, и мне не о чем беспокоиться. Она опять уехала вчера вечером к своей матери и детям. Нарышкины [98] тоже, они едут за границу. Мы были неразлучны в течение восьми дней. Теперь ты чувствуешь мое одиночество. Ни одна живая душа не заглянет ко мне. <..> У нас сложились совсем простые отношения с графиней Воронцовой, и я постараюсь, чтобы это и дальше шло так же, потому что она очаровательна. Вот что ты можешь сказать Булгакову [99]. Что же до графа [100], то я его почти не знаю, но знаю, что его любят все в городе — и русские и иностранцы, вид у него очень порядочный, таким образом, я уже предрасположена к нему, время сделает остальное, если мы поселимся на некоторое время в Одессе; его жена предсказывает, что я его очень полюблю, и я охотно этому верю

У меня сплин, не знаю, что такое, но эта высылка, преследования неизвестно с чьей стороны, с чего и почему, переполняют меня смутной тревогой и черными мыслями до такой степени, что я не нахожу себе места. Да хранит нас бог, и да избавит он нас от несчастий этой жизни, к которой ты, кажется, получил отвращение, судя по двум твоим последним письмам. <...> Если к 17 сентября [101] ты не

Е. К. Воронцова. Портрет работы Хейтера. Масло.



Портрет неизвестной женщины. Рисунок А. С. Пушкина.

приедешь, я поручаю детей графине Воронцовой и еду в Москву 18-го, чтобы ты мог поехать заменить меня в Одессу до зимы < >

Пушкин не застрелился [102] и никогда не застрелится, разве что с тоски этой зимои в деревне Я списала касающийся его отрывок и послала его с Владимиром [103], который застал его садящимся в коляску Я дала ему взаймы 600 рублей, которые должны мне быть возмещены здесь кем-то, кто ему должен [104], но я не верю в эту уплату, кроме того, я истратила 100 рублеи на покупку ему разных вещей в дорогу <..>

Объясни мне, почему я чувствительнее к страданиям других, чем к своим Когда дело касается нас, у меня больше энергии, когда же случается беда с другими, я скорее поддаюсь унынию, мне кажется, что несчастные — мое достояние, что они принадлежат мне по праву и что их сердце, зная, как мое сочувствует их горестям, должно ощущать облегчение

Я думаю, что наша разлука действует на мои нервы столько же, как и на мои чувства, и что я становлюсь лучше вдали от вас, дорогие друзья, потому что моя душа более расположена к восприятию горестных впечатлений < . >»

Замечательное письмо! Написанное сразу после отъезда Пушкина в новую ссылку, еще утром («Мадам Данжевиль должна прийти сегодня утром», — пишет в этом письме Вяземская), оно полно непосредственными впечатлениями горячо сочувствующего Пушкину друга Мы словно присутствуем при прощании Пушкина Он в о т ч а я н и и — «из-за некоего чувства, которое разрослось в нем в последние дни, как это бывает » Вяземская исправляет «в особенности из-за некоего чувства» — не в одной любви дело Она смягчает «Хотя все это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны»

Имени женщины не названо, но все эти оговорки и настойчивые требования Вяземской, чтобы муж не писал ей на эту тему, выдают ее с головой «есть причины, чтобы оставить этот разговор», — нужно хранить тайну, потому что героиня романа занимает в городе какое-то чрезвычайное положение

А письма к Вяземской не могут не перлюстрироваться — ежедневные общения ее с Пушкиным, конечно, замечены, а то, что за ним следят, не подлежит ни малейшему сомнению Мы знаем слова Воронцова «По всему, что я узнаю на его <Пушкина> счет и через Гурьева, и через Казначеева, и через полицию, он теперь очень благоразумен и сдержан » [105], известные строки Пушкина об атеизме были извлечены из перехваченного письма его [106], те-

перь же читаем мы красноречивое сообщение, что человека, адрес которому был надписан Пушкиным, допрашивали о нем.

Есть и еще одно обстоятельство, которое окончательно раскрывает имя женщины, которую любил Пушкин: Вяземская сообщает, что «вчера вечером», то есть 31 июля, уехала Воронцова. А это то самое число, возле которого Пушкин отметил в календарике: «départ». Дату отъезда любимой женщины отметил поэт, он должен запомнить э т у дату, а не день своего отъезда... Он-то уехал на другое утро, «только что», — пишет Вера Федоровна утром 1 августа.

То, что дата отъезда из Одессы 31 июля означает отъезд не Пушкина, а Воронцовой, убеждает в правильности гипотезы о связи заметок в «Альманахе для дам» именно с нею.

Письмо Вяземской окончательно укрепляет гипотезу о близости Пушкина и Воронцовой.

Исправляет оно бесповоротно и дату отъезда Пушкина из Одессы в Михайловскую ссылку. Выехал он не 30 июля, как считалось с 1861 года, на основании сообщения в «Полярной звезде» Герцена [107], не 31 июля, как было принято с 1941 года [108], а 1 августа на основании письма Вяземской [109] и осмысления заметки поэта в календарике (31 départ).

Теперь понятно и то, почему так смело нарушил Пушкин подписанное им 29 июля обязательство «без замедления отправиться из Одессы», — он хотел оттянуть расставание с уезжавшей Воронцовой.

Новое письмо Вяземской еще раз показывает нам редчайшее благородство Пушкина: уезжая в глухую деревню в ссылку, он у м о л я е т (через Веру Федоровну) своего любимого корреспондента, умного и острого Вяземского, не писать ему... Пушкин боится, что переписка с ним скомпрометирует его друга.

Обращает на себя внимание и беспокойство — «хорошо ли его примут родители», как отнесется мать к несчастью сына. Эти чувства исходят, конечно же, от Пушкина. Он прожил с родителями три года — со времени окончания лицея — до ссылки. Нелегкий опыт чувствуется в этой тревоге возвращающегося в семью поэта...

2. МИХАЙЛОВСКОЕ

Более полутора тысяч верст пути надо было преодолеть Пушкину на лошадях. Ехал он девять дней.

Наконец добрался до Михайловского.

На августовском листочке «Дамского альманаха» 1824 года появляется запись: «9 arrivé à M — » (девятого приехал в М<ихайловское>).

«И был печален мой приезд...» — вспоминает поэт (VI, 492). Здесь ждали его тяготы другого рода.

«Милый, прибегаю к тебе, — пишет Пушкин Жуковскому. — Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моею ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь, Пещуров [110], назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé... [111] (Жуковский, думай о моем положении и суди.) Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я е г о б и л, х о т е л б и т ь, з а м а х н у л с я, м о г п р и б и т ь... Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня. 31 окт.

А. П.» (XIII, 116).

Приходится укрываться у соседей — в Тригорском, где Пушкин проводит иногда по нескольку дней. Там отношения к нему самые дружественные, самые сердечные.

Первые месяцы в деревне живет он воспоминаниями, ожиданием писем из Одессы.

Чувство к женщине, от которой поэт насильственно отторгнут, преображается в его искусстве.

Первое стихотворение, связанное с Воронцовой, написанное в Михайловском

(или, может быть, там только переписанное [112]), — это «К морю», — ранняя редакция, еще без строф о Наполеоне, о Байроне, — лирическое прощание со «свободной стихией» — с значительным признанием:

Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

Быть может, тогда же, сразу после разлуки, еще до получения писем от Воронцовой, написано одно беспросветное по настроению стихотворение [113]. Беспросветно оно не только тем, что поэт оторван от любимой («прощай, надежда, спи, желанье»), но и тем, что он видит себя окруженным различными бедствиями, обступающими его со всех сторон.

Создавалось стихотворение в ту пору, когда гонимого поэта стали искушать мечты о спасительном бегстве из России. И вместе с тем мудрый Пушкин представлял себе тягчайшее испытание — одиночество, которое ждет человека, покинувшего отечество («в уединеньи чуждых стран»). Мученье это — в одном кругу с преследованиями правительством («гоненье»), с духовной расплатой за что-то содеянное («раскаянье»), с внезапными перипетиями судьбы («волненье»). Постоянно ждет Пушкин грозящие ему кары, более катастрофические, чем «гоненье» («Когда подымет океан /Вокруг меня валы ревучи, / Когда грозою грянут тучи...»). Ждет он от судьбы и испытания бездействием («лоно скучного покоя», «праздного покоя» — по первоначальному варианту). Пушкин хорошо знал эту пытку деятельному человеку. Был перед ним и осознанный пример Наполеона — «Мучением покоя / В морях казненного по манию царей» (II, 312). Предвидит поэт и напряженное ощущение неминуемой смерти, подстерегающей человека на каждом шагу на войне («в тревоге пламенного боя»). Невыносим, наконец, и вынужденный разрыв с любимой («Священный сладостный обман, / Души волшебное светило... / Оно сокрылось, изменило...»)...

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман.

В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман (II, 396).

Не об измене женщины речь в строфе «Священный сладостный обман...». В черновике было намечено продолжение, показывающее, что поэт имел в виду отошедшее счастье, поворот судьбы:

Как сон, как утренний туман
Любви сокрылось сновиденье...

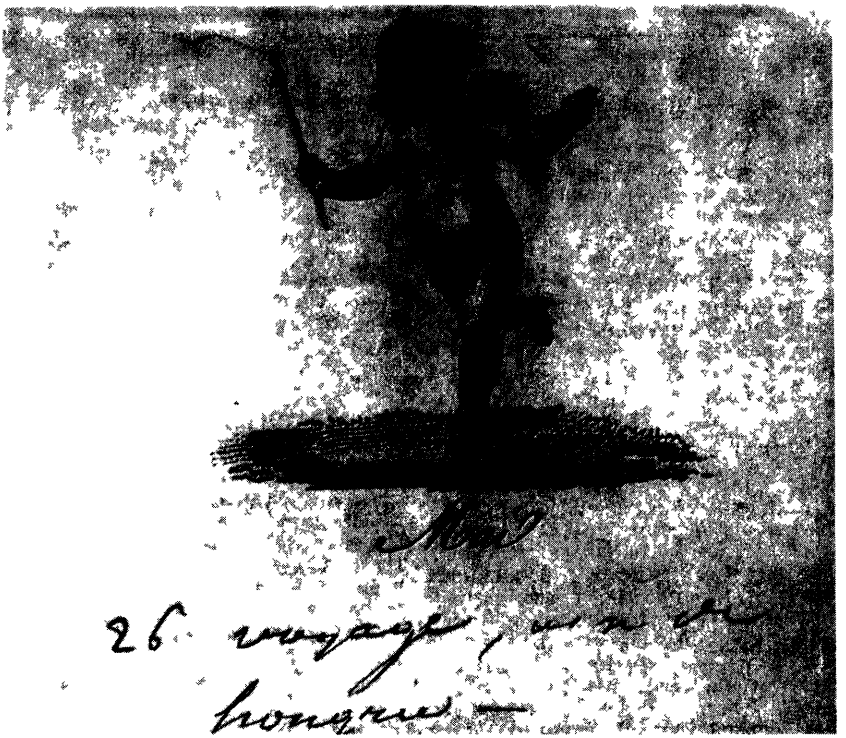
«Талисманом» называл Пушкин свой перстень с вырезанными на камне таинственными письменами [114]. Это был подарок Воронцовой. «Талисманом» запечатывал Пушкин свои письма. Не расставался с заветным перстнем он и впоследствии. Много позднее, уже в 1835 году, он нарисовал свои пальцы с этим кольцом на одном из них.

До конца дней не снимал он перстня с руки. И на дуэль отправился он с «талисманом»... Снять кольцо с мертвой руки Пушкина пришлось Жуковскому [115].

Сестра Пушкина рассказывала, что, когда приходило ему письмо с такой же печатью, как на его перстне, он запирался в своей комнате, никуда не выходил, никого не принимал.

Через две недели после приезда в деревню Пушкин возвращается к давно оставленному стихотворению. Это вольный перевод из Парни («Les déguisements de Vénus» — «Превращения Венеры» — XXVII стихотворение цикла). Три года назад, в 1821 году, написав одиннадцать стихов, Пушкин оставил его недоконченным. Теперь, в Михайловском, он вернулся к нему. Почему?

Всякое произведение великого поэта волнует не только волшебством своего текста, но и тайной своего зарождения. Почему влечет Пушкина, перенесенного силою обстоятельств с юга в деревню, к теме царицы ада? Его занимает не столько передача текста Парни на русском языке, сколько то, что он вкладывает своего, чем он обогащает стихотворение французского



Запись А С Пушкина
в «Almanach des Dames»
о собственном дне рождения

поэта Пушкин привносит в текст оригинала описание Элизия и образ сладострастной Прозерпины Варианты этих — своих — мотивов в черновике особенно обильны Заканчивает поэт стихотворение, переписывает и ставит дату 26 августа 1824

Вот как сложилось стихотворение окончательно

Прозерпина

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат,
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним
Пред богинею колена
Робко юноша склонил
И богиням льстит измена
Прозерпине смертный мил
Ада гордая царица
Взором юношу зовет
Обняла — и колесница
Уж к аиду их несет
Мчатся, облаком одеты,
Видят вечные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега
Там бессмертье, там забвенье
Там утехам нет конца
Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,

Запись А. С. Пушкина в «Almanach des Dames» о последних днях в Одессе, 1824 г.

Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет...
Но бегут любви часы;
Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро мчат его назад.
И Кереры дочь уходит,
И счастливца за собой
Из Элизия выводит
Потаенною тропой;
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой (II, 320).

5 сентября Пушкин получает письмо. «U. l. d. [EW.]» [116] (Une lettre de Elise Worontsoff — письмо от Элизы Воронцовой), — записывает он в черновой тетради и зачеркивает монограмму.

Это, вероятно, первое ее письмо, событие в его жизни.

Письма возбуждали чувство, но тоски не утоляли...

Он рассматривает ее портрет, подарки:

Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награды долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,

Святой залог любви, утеха грусти
нежной —
Не лечит ран любви безумной, безнадежной
(II, 366) [117].

В октябре создается большое стихотворение — «Клеопатра» [118]. Пишется оно вдохновенно, стремительно; почерк летящий; рука еле поспевает за рождающимися стихами. Никаких отвлечений. Никаких рисунков. Зачеркивания, замены — все молниеносно. Поэт переполнен мыслями, образами, звуками.

Это осень, «Михайловская осень» 1824 года, плодоносная исключительно.

Заканчивает Пушкин «Клеопатру» в течение месяца.

Мне представляется, что образ Клеопатры — это развитие образа Прозерпины. Если там «ада гордая царица» отдается робкому юноше («Прозерпине смертный мил») —

Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет...

то здесь в клятве царицы те же мотивы, но выраженные еще сильней.

И снова гордый глас возвысила царица:
«Теперь забыты мной венец и багряница!
Простой наемницей на ложе восхожу;
Неслыханно тебе, Киприда, я служу,
И новый дар тебе ночей моих награда.
О боги грозные, внемлите ж, боги ада,
Подземных ужасов печальные цари!
Примите мой обет: до сладостной зари
Властителей моих последние желанья
И дивной негою и тайнами лобзанья,
Всей чашею любви послушно упою...

Обет Клеопатры заканчивается клятвой:

Когда же сквозь завес во храмину мою
Блеснет Авроры луч — клянусь моей
порфирой,
Главы их упадут под утренней секирой!»
(III, 686).

Творческий мир великого поэта так сложен, богат, таинствен, что попытка проникновения в истоки замысла произведения, его толкование чаще всего кажутся произвольными, обедненными.

И тем не менее меня искушает интуитивная догадка, что образ Клеопатры, как и Прозерпины, в поэзии Пушкина — это преображение в искусстве образа той женщины, которая владела чувствами и помыслами поэта последние месяцы.

Властителей моих последние желанья
И дивной негою и тайнами лобзанья,
Всей чашею любви послушно упою... —

это преломленный образ Воронцовой, поразивший поэта контрастом между ее царственной внешностью и сокровенной сущностью [119].

Конечно, Воронцова — Клеопатра не в том смысле, что она может послать любовника на смерть. Но литературный образ имеет свою власть над художником, и образ Клеопатры был бы неполон, если бы она не посылала своих любовников на казнь.

Во время писания «Клеопатры», в те же дни — между 2 и 8 октября, — Пушкин лишь однажды отрывается от работы и создает маленькое лирическое стихотворение.

Поэт озаглавливает его: «Ребенку», но заглавие заменяет.

Младенцу

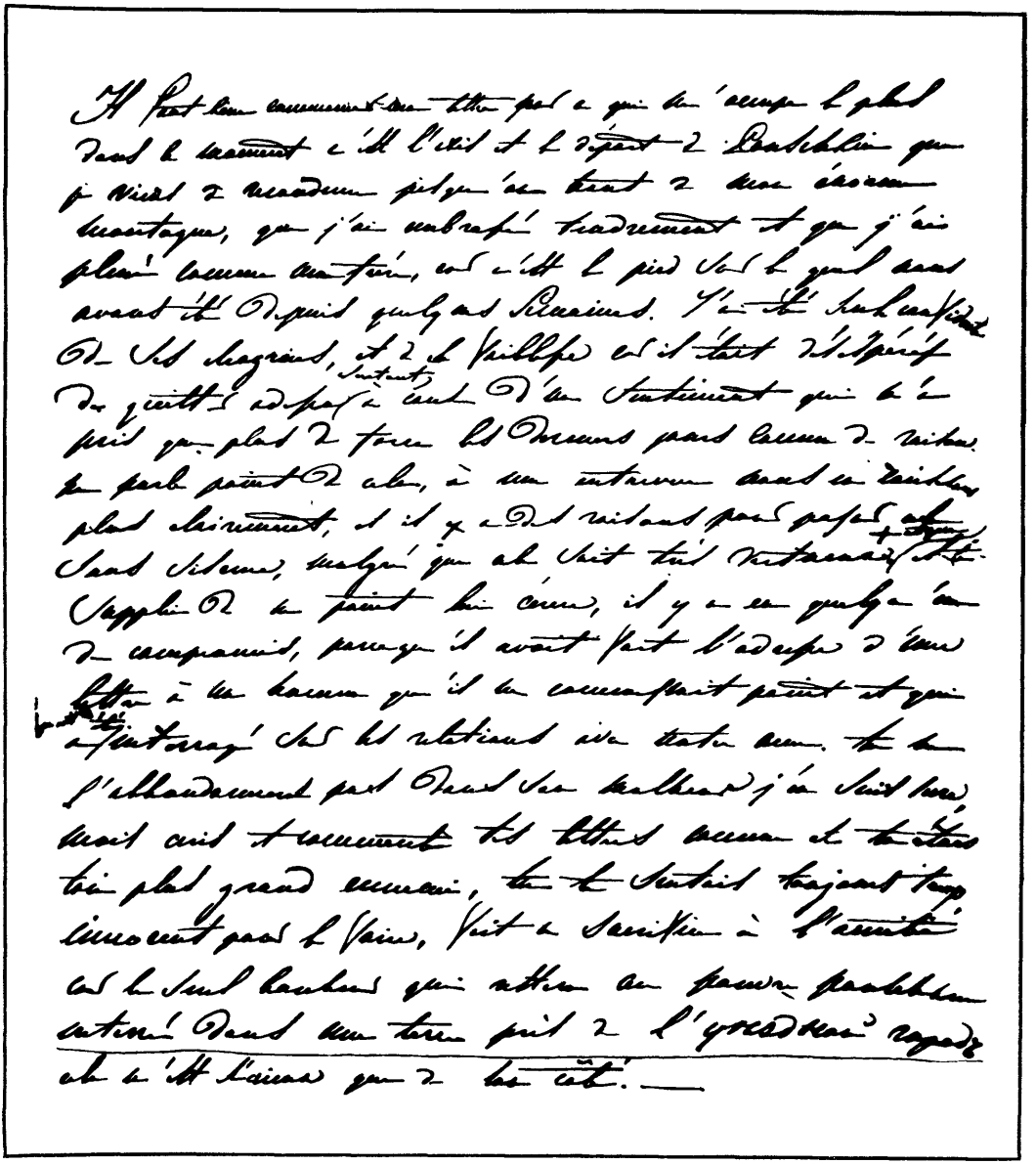
Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
[Ты] взором, [мирною <?> душой],
[Небесный] ангел утешенья.

Да будут ясны дни твои,
Как [милый] взор <твой> <?> ныне
ясен.
[Меж] [лу<чших> <?>] жребиев земли
Да [б<удет>] жребий твой прекрасен
(II, 351).

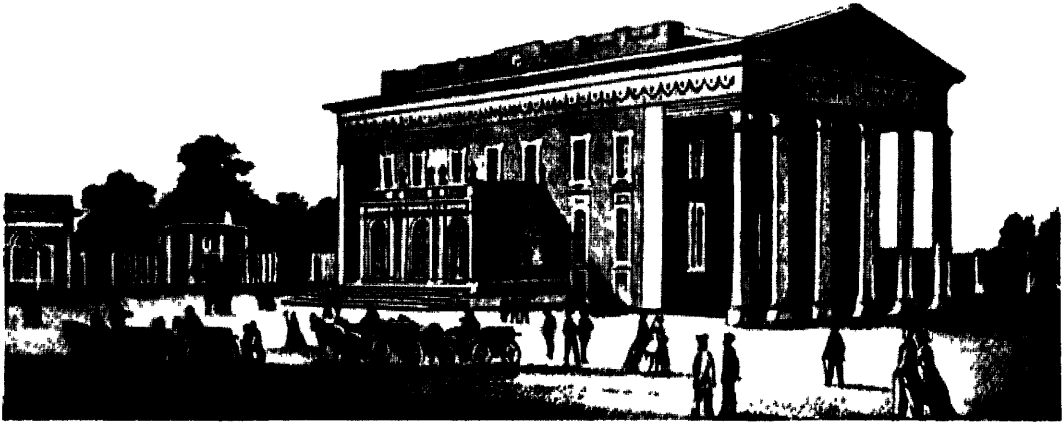
Почему прерывается вдохновенная работа над «Клеопатрой» этим стихотворением? Жизнь со всей ее неумолимой силой вторгалась в искусство...

Раздумывая над смыслом этих строк во время писания романа «Пушкин в Михайловском», покойный Иван Алексеевич Новиков предположил, что стихи эти, вероятно, обращены к внебрачному ребенку поэта. Догадку свою решил он проверить, обратившись к рукописи стихотворения, надеясь найти в черновых вариантах (они еще не были опубликованы) подтверждение своей мысли.

Не имея опыта в чтении черновиков



Письмо В. Ф. Вяземской от 1 августа 1824 г. к мужу.



Одесский театр.

Пушкина, известных своей трудностью, он просил меня пойти с ним в рукописный отдел Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина, где тогда хранились рукописи Пушкина.

Вот что мы прочитали в автографе:

Я не скажу тебе зачем
*
Я не скажу тебе причины
*
Дитя, я не скажу тебе
Причины
*
Ты равнодушно обо мне
Дитя со временем услышишь
*
И равнодушно обо мне
Молву со временем услышит
*
клевета
Черты мои тебе опишет

Здесь поэт находит начало стихотворения (он отмечает его, отчеркнув его от предыдущих строк):

Прощай о милое дитя
Я не скажу тебе причины

Прощай прелестное дитя
живи, шутя
*
Моей таинственной любви
Я не скажу тебе причины.
*
Прощай дитя моей любви
Я не скажу тебе причины
*
И клевета ей образ <мой> <?>
*
И клевета неверный <?> ей
Быть может <образ мой> опишет
< >
Она со временем услышит
*
И клевета черты мои
Неверно ей опишет
*
И клевета неверно ей
Быть может, образ мой опишет,
О том, кто
Она со временем услышит

*

И клевета неверно ей
Чертами <?> опишет,
Быть может о судьбе моей
Она со временем услышит

И вот — новое начало

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья,
Ты ангел мирною <?> душой.
*
Ты ангел утешенья
*
Ты чистый ангел утешенья
*
Ты тихой <?> ангел утешенья
*
[Ты] взором, [мирною <?> душой]
[Небесный] ангел утешенья
*
Прими желания мои,
Не знай бо<лезней> <?> (II, 883—885).

Слова прощанья, боязнь клеветы, которая может исказить истинные черты поэта, отбрасываются. Сохраняются только два четверостишия, выражающие устранение себя из жизни ребенка и пожелание ему ясных дней. Большего не надо слова обращены к младенцу.

Стихотворение осталось в черновике, многие слова зачеркнуты и не заменены, другие читаются предположительно И тем не менее пушкинистам удалось прочесть два четверостишия [120].

Казалось бы, стих «Прощай, дитя, моей любви» не оставляет сомнения в правильности догадки И. А. Новикова [121].

Однако могут быть и возражения. В черновой рукописи Пушкина почти совсем не соблюдена пунктуация. Поэтому не исключена возможность соотнесения слов «моей любви» в начальном стихе со следующим

Прощай, дитя, моей любви
Я не скажу тебе причины [122].

Впрочем, это не меняет общего толкования стихотворения

Укрепился в своей догадке И. А. Новиков, когда увидел в алупкинском дворце портрет одной из дочерей Воронцовых Девочка резко отличалась внешностью от остальных членов семьи. Среди блондинов — родителей и других детей — она единственная была темноволоса

Родословные разыскания говорят о том, что эта дочь Воронцовой, Софья, родилась 3 апреля 1825 года [123]. Стихи Пушкина, написанные между 2 и 8 октября 1824 года, могли возникнуть после письма возлюбленной, в котором она извещала его о том, что готовится стать матерью

Это гипотеза.

Но гипотеза крепнет, когда ее поддерживают факты иной категории

Приведу отрывок из дневника «Вокруг Пушкина», который мы с Мстиславом Александровичем Цявловским вели на протяжении многих лет и который я продолжаю и после его кончины

«23 сентября 1952 г. 11 ч. 15 м вечера.

Только что ушла от меня правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Шепелева. <...>.

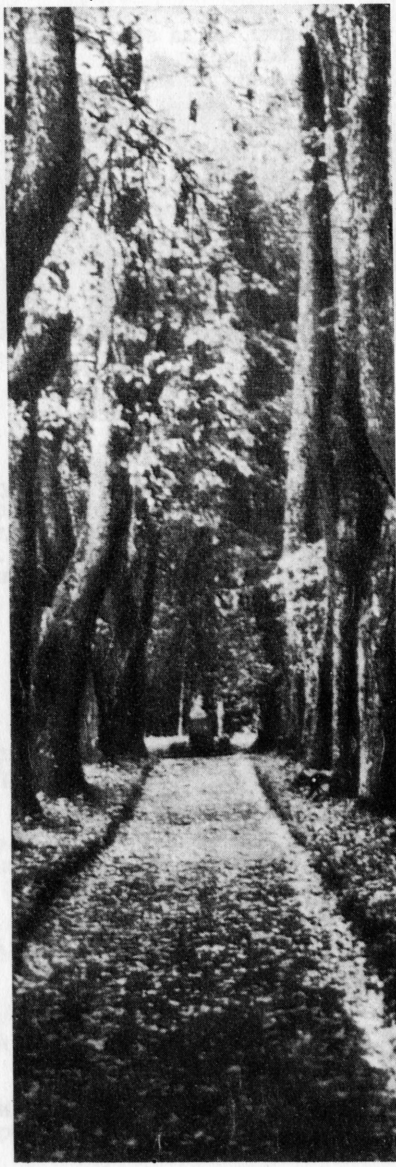
Разговорились о Пушкине. Ее все больше увлекает чтение его, и хочется знать, кому посвящены те или иные стихи.

Вдруг — в беседе — она говорит, что у Пушкина был ребенок от Воронцовой.

Я, спокойно: «Да, был, это бесспорно.

Почтовая тройка

Михайловское, липовая аллея («аллея Керн»).



Е. К. Воронцова. Гравюра Тернера с портрета работы Д. Доу.

С. М. Воронцова. Неизвестный художник. Масло.

Вы это знаете от Ивана Алексеевича Новикова? Из его романа? [124]

— Нет, от тети Анны [125].

— Да что вы?!.. Что же она вам сказала? Давно?

— Во время войны. Она уже спокойнее, равнодушнее относилась к понятию «schocking»...

— Мудрее стала?

— Да, может быть. Она сказала мне об этом факте.

Я Это очень значительно, то, что вы говорите. Ведь если это семейный рассказ, значит, он идет от Натальи Николаевны, а ей мог сказать, конечно, только Пушкин. Значит, он счел нужным признаться ей в этом.

Она: Да, очевидно. Тетя Анна рассказала мне это со слов своего отца [126], который вообще был очень замкнут и сдержан, но почему-то с Анной Александровной он был ближе, чем с другими детьми. Он говорил ей, что, когда он уже был взрослым, офицером, уже женатым [127], он приходил каждую субботу (именно, помню, по субботам) к своей матери, и она рассказывала ему об отце, об их жизни. Вероятно, тут Наталья Николаевна и рассказала сыну об этом.

Я: Это замечательно! Это подтверждает окончательно гипотезу пушкинистов. Догадался И. А. Новиков, прочтя свежим взглядом стихи «Младенцу», потом увидел портрет смуглой дочери Воронцовой — и все понял. Делал доклад [128]. Написал об этом в своем романе [129]. Мстислав Александрович был совершенно с ним согласен, ввел этот эпизод в свою статью о Пушкине и Воронцовой [130]. Потом были у него и еще догадки о других материалах; позднее и я осмыслила происхождение некоторых стихов Я все это должна дописать.

— Только не надо об этом сейчас печатать и говорить! Пока жива тетя Юлия [131], — не надо. Надо щадить старых людей.

— А она знает?

— Не знаю. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Вам говорю первой. Я то держусь других взглядов. Во-первых, я считаю, что жизнь Пушкина не надо утаивать, и не вижу ничего дурного в том, что у него мог быть внебрачный ребенок».

Так вот какой характер отношений был между Пушкиным и Натальей Николаевной! Он пришел к браку с сердцем, облегченным полной исповедью.

Вероятно, уговорились они делиться

Запись А С Пушкина в «Almanach des Dames» о приезде в Михайловское, 1824 г

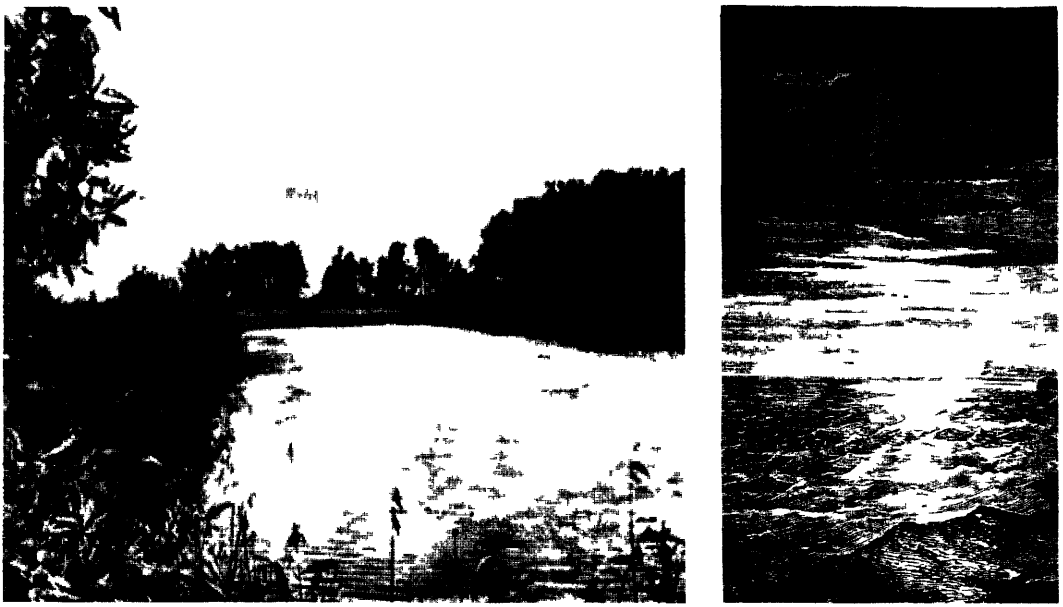
друг с другом всеми своими увлечениями, и прошедшими и будущими. Отсюда — постоянная тема ревности, то серьезной, то шутливой, в переписке Пушкина с женой [132].

И еще одно подтверждение достоверности этой гипотезы И. А. Новикова.

В «Мемуарах кн. М. С. Воронцова за 1819—1833 годы» [133], составленных им для сестры его леди Пемброк [134], есть упоминания о рождении всех его детей. Отсутствует только запись о рождении Софьи [135].

Быть может, это умолчание случайно и не вызвано оскорбленным чувством мужа? В главе о 1832 годе Воронцов называет Софью среди своих детей [136]. А может быть, это позднейшее «признание» своего отцовства вызвано осиротевшим чувством отца: из шести детей его к тому времени уцелело только двое [137].

18 октября, дней через десять после написания стихотворения «Младенцу», Пушкин создает одно из самых драмати-



Тригорское, большой верхний пруд

ческих своих стихотворений — «Коварность»

Здесь вновь появляется слово «клевета», оставшееся в черновике «Младенца» Там, предвидя, что его ребенку будут рисовать образ отца искаженно, Пушкин мог иметь в виду и Воронцова, и Раевского

В «Коварности» же речь о другой клевете, уже сыгравшей свою роль Неясно, что имеет тут в виду Пушкин Мы лишены возможности читать эти строки в черновике — этом кладезе драгоценностей, так часто помогающем понять намеки, выраженные в беловике более общо (утрачен фрагмент черновой рукописи стихов 13—24, всей обличительной части монолога поэта)

Пушкин обвиняет своего «друга» в том, что он употреблял «святую власть» «дружбы» на «злобное гоненье», «затейливо язвил» «пугливое воображенье» поэта, находил «гордую забаву» «в его тоске, рыданьях, униженье», был «невидимым эхом» «презренной клеветы» о «своем друге», иначе говоря — поддерживал ее, «накинул ему «цепь» и «сонного предал врагу со смехом» Впрочем, поэт ничего не утверждает Он еще оставляет и своему «другу», и самому себе надежду, что все это ошибка

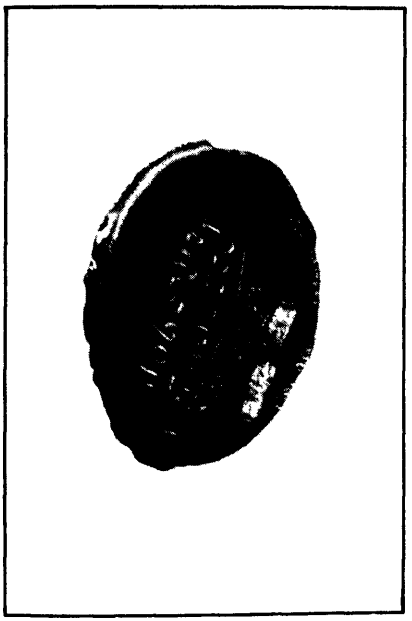
Оканчивается стихотворение убийственно

Ты осужден последним приговором

После завершения стихотворения поэт уже с полным сознанием своей правоты озаглавливает его

Коварность

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем
Когда свою он от руки твоей
Как от змеи отдернет с содроганьем
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, —
Не говори «Он болен он дитя
Он мучится безумною тоскою»,
Не говори «неблагодарен он
Он слаб и зол, он дружбы недостоин
Вся жизнь его какой-то тяжкой сон»
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?



Отпечаток камня
вправленного в перстень
(«талисман»)
А С Пушкина

Перстень («талисман»)
Рисунок А С Пушкина

Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье,
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье,
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье,
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом,
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором
(II, 336)

Стихотворением этим ответил Пушкин на «ласкательное» письмо к себе Александра Раевского, который, утверждая свою дружбу к нему, требует от Пушкина письма [138]

Начинается письмо Раевского деланно-непринужденным тоном невинности

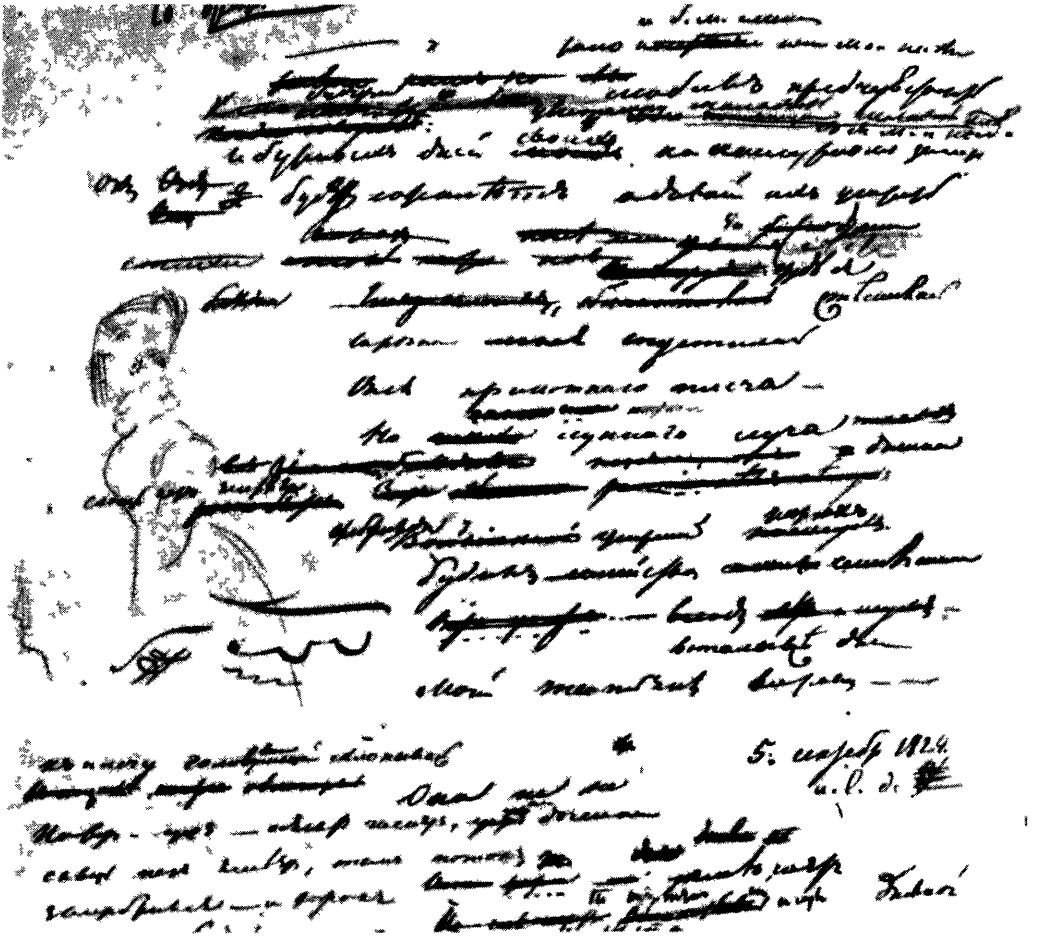
«Вы совершили большую оплошность мой друг не дав мне своего адреса и воображая, что я не сумею разыскать вас в глуши Псковской губернии, вы избавили бы меня от лишней траты времени на розыски и раньше получили бы мое письмо» (XIII, 105 и 529 — перевод)

Раевский будто бы уверен, что Пушкину нужно его письмо

«Вы пишете, что боитесь скомпрометировать меня перепиской с вами»

Мы не знаем кому писал об этом Пушкин Брату Раевского Николаю? Вяземской? Как мы видели, Пушкин отказывался — ради того, чтобы уберечь друга от подозрений, — от переписки с Вяземским То же было на первых порах и с Александром Раевским (поэт еще не понимал тогда что же такое этот «друг»)

«Такое опасение ребячливо во многих отношениях, а к тому же бывают обстоятельства когда не приходится считаться с подобными соображениями Да и что может быть компрометирующего в нашей переписке? Я никогда не вел с вами разговоров о политике, вы знаете что я не слишком высокого мнения о политике по-



Запись А С Пушкина (5 сентября 1824 и I d [EW]) в черновой рукописи третьей главы «Евгения Онегина»

этов, а если и есть нечто, в чем я могу вас упрекнуть, так это лишь в недостаточном уважении к религии — хорошенько запомните это, ибо не впервые я об этом вам говорю» (XIII, 106 и 529)

Письмо, написанное явно в расчете на перлюстрацию, демонстрирует благонадежность его автора Охраняя собственную репутацию, Раевский предает Пушкина

Наконец обретает Раевский якобы сердечный, дружеский тон Пышные компли ментарные словеса, к которым интимные друзья не прибегают даже в письмах, рассчитаны на усыпление настороженности Пушкина Плохой расчет! Поэта не мог обмануть этот ходульный тон

«Я испытываю настоящую потребность писать вам Нельзя безнаказанно прожить вместе столько времени, даже оставляя в стороне множество причин, которые заставляют меня питать к вам истинную дружбу, одной привычки было бы достаточно, чтобы создать между нами истинную прочную привязанность Теперь, когда мы

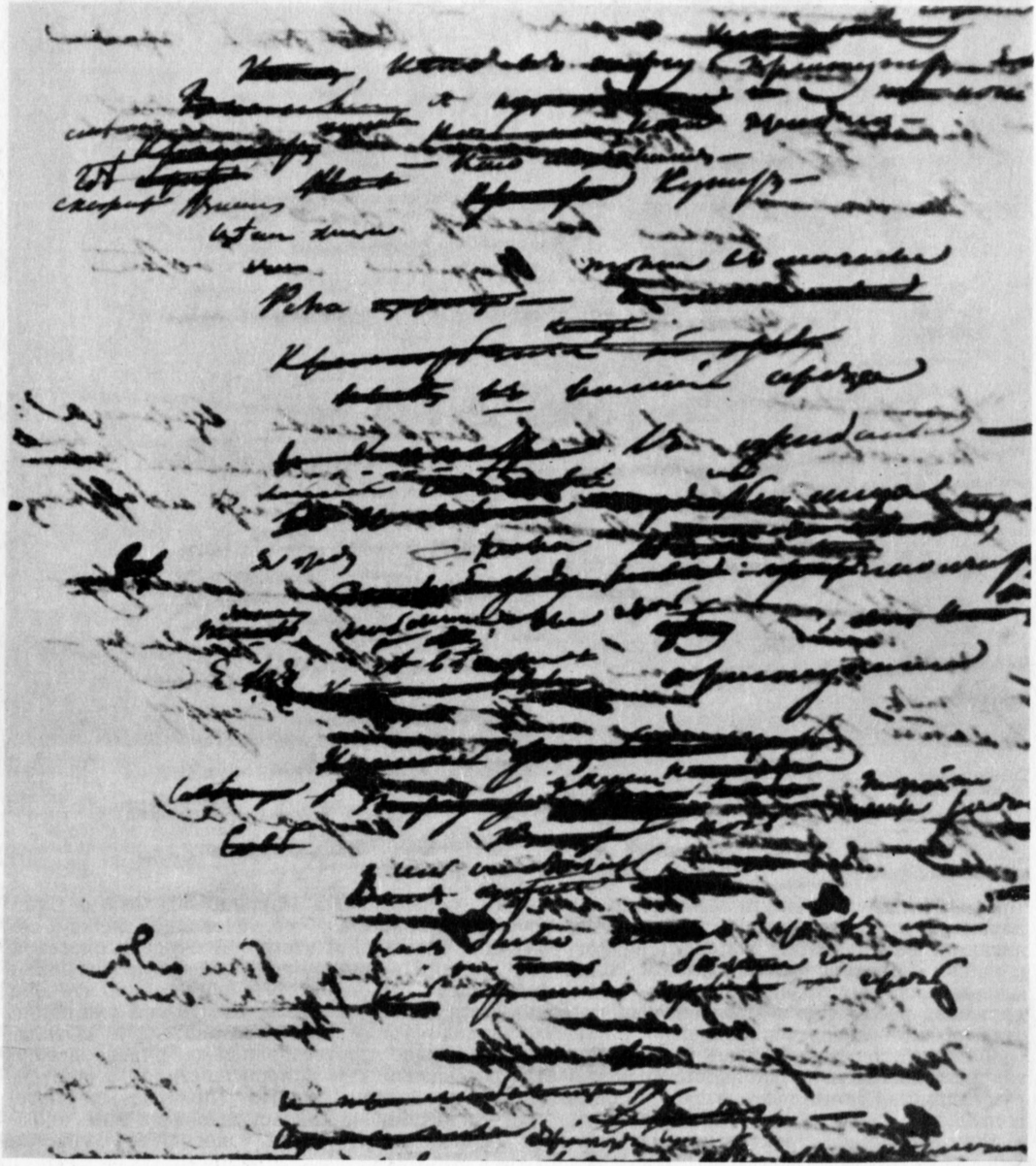
Тригорское, «танцевальный зал» в парке.

так далеко друг от друга, я не стану сдерживаться в выражении чувств, которые питаю к вам; знайте же, что, не говоря о вашем прекрасном и большом таланте, я с давних пор проникся к вам братской дружбой, и никакие обстоятельства не заставят меня отказаться от нее».

Фальшь, сочиненный тон «великодушного» человека, который якобы протягивает руку другу, попавшему в беду, слишком явны.

Еще несколько строк из письма Раевского, посвященных Воронцовой. Они с Пушкиным называли ее, очевидно, между собой Татьяной. Почему? В образах одесской любви Пушкина и любимой его героини общего нет ничего. Не потому ли, что она была женою генерала, а Пушкин уже предвидел судьбу своей Татьяны?..[139] «Откладываю до другого письма удовольствие рассказать вам о происшествиях и черточках из жизни наших прекрасных соотечественниц, а сейчас расскажу вам о Татьяне. Она приняла живейшее участие

Черновая рукопись
«Клеопатры».



в вашем несчастии; она поручила мне сказать вам об этом, я пишу вам с ее согласия. Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали; она выразила мне это со всей чувствительностью и прелестью, свойственными характеру Татьяны. Даже ее прелестная дочка вспоминает о вас, она часто говорит со мной о сумасбродном г-не Пушкине и о тросточке с собачьей головкой, которую вы подарили ей. Я все время поджидаю маленький портрет с двумя первыми стихами, которые вы для нее написали» [140] (XIII, 106 и 530 — перевод).

«Весело» ли было Пушкину получить от соперника известия о том, как отнеслась к несчастию, случившемуся с ним, дорогая ему женщина?..

«Ради бога, дорогой друг, — продолжает Раевский, — не предавайтесь отчаянию, берегитесь, чтобы оно не ослабило вашего прекрасного дарования, заботьтесь о себе, будьте терпеливы: ваше положение изменится к лучшему. Поймут несправедливость той суровой меры, которую применили к вам. Ваш долг перед самим собой, перед другими, даже перед вашей родиной — не падать духом; не забывайте, что вы — украшение нашей зарождающейся литературы и что временные невзгоды, жертвою которых вы оказались, не могут повредить вашей литературной славе. Я знаю, что ваша первая ссылка пошла на пользу вашему характеру; что вы теперь уже не такой взбалмошный, опрометчивый. Продолжайте в том же роде, затем питайте уважение к религии, — и я не сомневаюсь, что в самом непродолжительном времени вас выпустят из проклятой вашей деревни.

Прощайте. Ваш друг А. Раевский. 21 августа 1824.

Александрия близ Белой Церкви [141].

Мой адрес по-прежнему — Киев» (XIII, 105—107 и 529—531 — перевод).

На это письмо, может быть окончательно раскрывшее Пушкину нравственный облик его вчерашнего друга, поэт ответил стихотворением «Коварность» [142].

Позднейший приезд в Михайловское воскресил переживания и чувства, владевшие им этой осенью.

Пушкин приехал в Михайловское в 1835 году. Он пишет «Вновь я посетил...». Черновики этого стихотворения содержат многое, затем поэтом выброшенное, и среди них выразительные характеристики своих переживаний.

Черновой вариант начала:

Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Два года бурной младости моей
В спокойствии невольном и отрадном.
Вот <?> десять лет ушло с тех пор! — и много
Переменило время для меня...
И сам во многом я переменился —
Покорный общему закону жизни.
А кажется вчера еще бродил
Я в этих рощах и сидел недвижен
На том холме — на озеро взирая
[И поминал полуденное море —].

И другой отрывок:

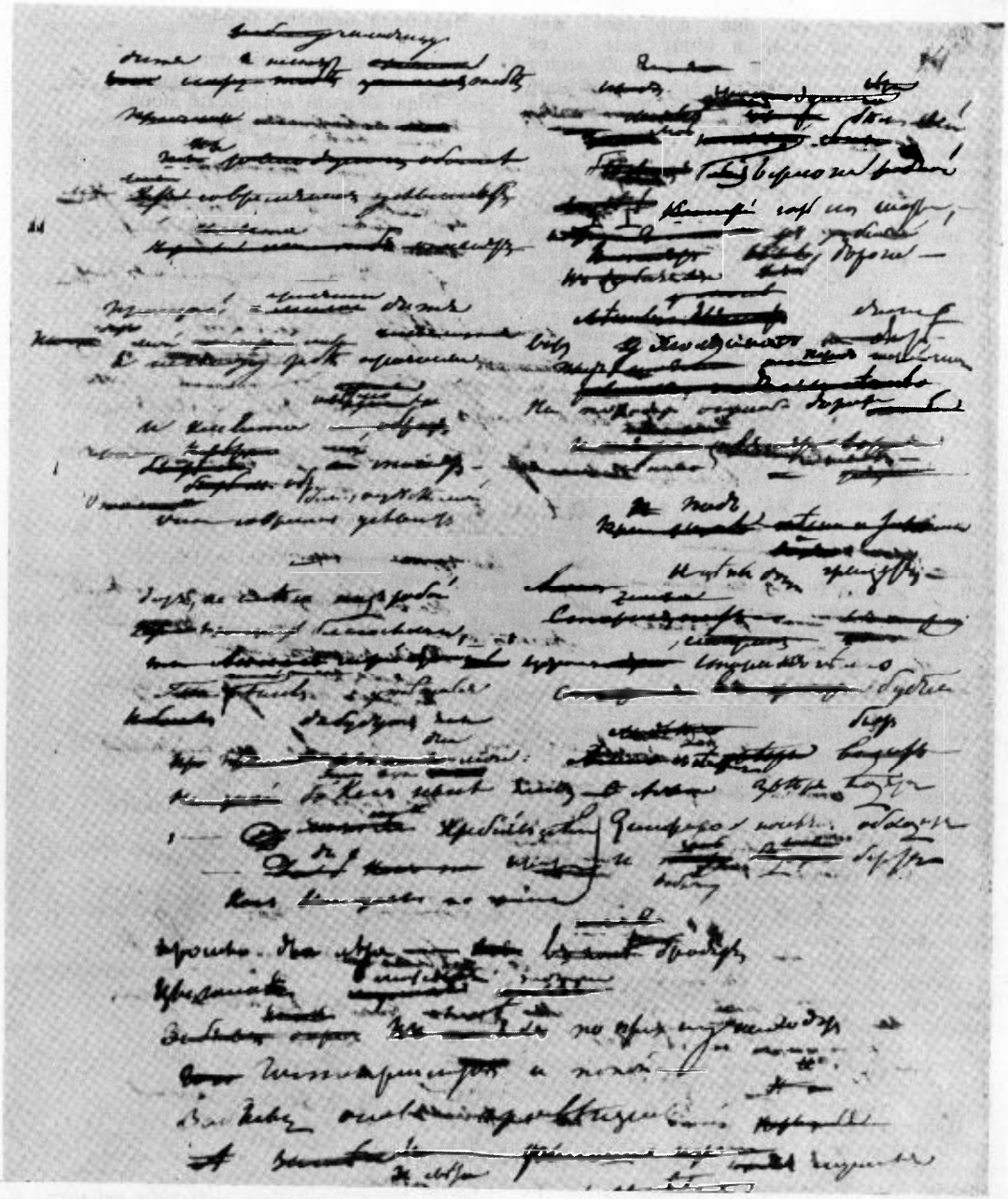
Здесь, погруженный в
Я размышлял о юности моей
*
Я размышлял о бурных заблужденьях
*
Я размышлял о грустных испытаньях
Ниспосланных мне промыслом —
*
Я размышлял о юности [моей]
Потерянной средь грустных заблуждений.
*
Я размышлял о грустных заблужденьях,
Об испытаньях юности моей.

Далее развивается новая мысль:

О клевете насмешливой
*
О клевете язвительной <?
*
О клевете, мне сердце уязвившей
*
О клевете, о строгой света
*
О строгом заслуженном осужденьи
О [мнимой] дружбе, сердце уязвившей
Мне горькою и ветреной обидой.

Поэт думал закончить стихотворение отброшенным затем фрагментом:

В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я — когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был —
Веселым юношей, беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни; — годы
Промчалися — и вы во мне прияли
Усталого пришельца — я еще
Был молод — но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.



Черновая рукопись
стихотворения «Младенцу».

С. М. Воронцова.
Неизвестный художник.
Масло.

[Я зрел врага в бесстрастном <?> судии,
Изменника, в товарище пожавшем
Мне руку на пиру, — всяк предо мной
Казался мне изменник или враг —]
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная <?> младость —
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной.
[Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-[утешитель], —
Спасла меня; и я воскрес душой (III, 996—999).

Клевета, мнимая дружба и подозрительность к товарищам, ненависть, мечты о мести — вот те впечатления и чувства, которые терзали Пушкина в Михайловском в 1824 году и которые так ясно определяет он в 1835-м.

Как же должно было утешить потрясенного изгнанника письмо от Дельвига, полученное в начале октября! И сообщением об общественном мнении, которое на его, Пушкина, стороне, и безграничной верой в гений поэта и в его человеческую правоту, и добрым тоном настоящего друга, милого Дельвига, и — как следствие — возрождением веры в дружбу...

«Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т. е. делай, что хочешь, но не сердися на меры людей, и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели б ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания. Продав второе издание твоих сочинений, пришлю тебе и денег, и, ежели хочешь, новых книг. Объяви только волю каких и много ли...» (письмо от 28 сентября 1824 г.; XIII, 110).

После написания стихотворения «Коварность» проходит дней десять. Пушкин пишет в черновом письме к В. Ф. Вяземской: «Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства; но слава богу, небо у нас сивое, а луна точная репка...» (последние слова, начиная со слов «но слава богу», написаны во французском письме по-русски; XIII, 114 и 532).

Как это постоянно у Пушкина бывает, мысль, высказанная в письме, развиваясь, требует поэтического воплощения. Создается стихотворение, начальные стихи которого — антитеза пейзажа здесь и там — являются претворением в поэзии чувств и образов, выраженных в письме.

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь...
. я спокоен;
. . . . . .
Но если . . . . . (II, 348).

Мы точно слышим прерывающееся дыхание поэта при воспоминании о любимой, при сопутствующем ему сомнении в ней...

Разъедающее душу неверие не дает досказать подступившую догадку. Слова иссякают. Паузы — небывалые в поэзии — нарастают.

Мысль о Раевском не оставляет Пушкина. И не напрасно. Он услышит еще о нем в 1828 году, вспомнит его и перед последней дуэлью.

Но идет еще 1824 год.

Пушкин должен уничтожить письмо Воронцовой — «она велела»... Вероятно, то, где она говорит ему об его будущем отцовстве.

В конце декабря или в начале января 1825 года появляется

Сожженное письмо

Прощай, письмо любви! прощай: она
велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий
дым
Виясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит...
О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел
милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...
(II, 373).

Отметим и один оброненный поэтом набросок об отсылаемом письме.

Так <н р з б.> слезами
Пылая капает сургуч (II, 473) [143].

Образ этот не получил развития.

А затем у нас на глазах происходит один неожиданный, казалось бы, непонятный творческий ход Пушкина.

В начале октября закончил он поэму «Цыганы», закончил совершенно, переписал, написал эпилог. Было это 10 октября. И вот спустя три месяца, в январе 1825 года, поэт возвращается к законченной вещи. Он пишет так называемый монолог Алеко над колыбелью новорожденного сына.

Текст этот построен на контрасте отношения к младенцу, рожденному в цыганском шатре, и другому, рожденному в «блистающих палатах». Этот последний мотив еле слышится, он звучит как обертон, но он-то и важен поэту.

Монолог написан в духе всей поэмы, выражающей глубокое разочарование в просвещении, к которому пришел Пушкин во время тяжелого мировоззренческого кризиса в 1823—1824 годах.

Если в стихах, писавшихся непосредственно после известия о будущем отцовстве, драма Пушкина состояла в том, что он не смеет благословить свое дитя, и в том, что его образ в глазах ребенка извратят, оклевещут, — то вскоре Пушкин перестал думать о себе. Он увидел грядущую судьбу своего незаконного ребенка. Она проступает как доминанта:

Бледна, слаба Земфира дремлет —
Алеко с радостью в очах
Младенца держит на руках
И крику жизни жадно внемлет.
«Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы!..
Останься посреди степей.
Безмолвны здесь предрассужденья
И нет их раннего гоненья
Над дикой люлькою твоей.
Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.
Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Лишен и неги просвещенья
И пышной суеты наук —
Зато беспечен, здрав и волен,
Тщеславных угрызений чужд,
Он будет жизнию доволен,
Не зная вечно-новых нужд.
Нет, не преклонит он [колен]
Пред идолом какой-то чести,
Не будет вымышлять измен,
Трепеща тайно жаждой мести —
Не испытает м<альчик> мой
Сколь [жестоки пени],
Сколь черств и горек хлеб чужой —
Сколь тяжко <медленной> [ногой]
Всходить на чуждые ступени.
От общества быть может я
Отъемлю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына —
И я б желал, чтоб мать <моя>
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка,
Или в расселине утеса.
О сколько б едких угрызений,
Тревог, разуверений
Тогда б я в жизни не узнал,
О сколько... (IV, 444—447).

Поэт много работал над этим монологом, но в конце концов оставил его и в поэму не ввел.

В первоначальной редакции отрывка тайная мысль поэта была обнаженнее:

Тригорское скамья Онегина

Твое рожденье средь степей
Не встретил крик предрассужденья,
И не страшусь его презренья
Над бедной люлькою твоей (IV, 447)

Не очевидно ли, что это преображенные в искусстве собственные переживания?

Можно думать, что Пушкин предвидел, что его ребенок будет смугл, будет нести в себе африканские черты Это не сможет не поразить окружающих Им станет ясно, что ребенок — незаконный А по условиям того времени это неминуемо повлечет за собой пренебрежительное отношение Все эти мысли читаем мы в первоначальных вариантах этих стихов

Обращение Алеко к младенцу рожденному от свободного союза с цыганкой начиналось так

В твое рожденье над тобой
Не крик предрассужденья жадный
*
Не крик предрассужденья хладный
*
Не встретил смех предрассужденья
(IV, 447)

В последней редакции монолога Алеко есть еще набросок нескольких стихов, которые в текст не вошли

Коварный шепот клеветы,
Любви тщеславные мечты
И дружбы пени (IV, 446)

Здесь нельзя не узнать характеристики Александра Раевского

Его выдают слова «коварный» «может быть», «клевета», «дружбы пени» В стихе о пенях дружбы угадываем мы пушкинскую характеристику письма к нему Раевского, уже вызвавшего ответ — стихотворение «Коварность»

Здесь появляется еще не названная нигде черта — «любви тщеславные мечты» Вот как понимал Пушкин любовь Раевского к графине Воронцовой — она порождена тщеславием

Дальнейшие строки

Ни покровительством —
Ни клеветой (IV, 446).

Здесь речь уже о Воронцове Вспомним письмо Пушкина к Казначееву, человеку порядочному. Пушкин написал ему в Одессе в начале июня 1824 года, когда Казначеев, по-видимому, урезонивал Пушкина в связи с прошением его об отставке после истории с саранчой.

«Мне очень досадно, что отставка моя так огорчила вас, и сожаление, которое вы мне по этому поводу высказываете, искренне меня трогает. Что касается опасения вашего относительно последствий, которые эта отставка может иметь, то оно не кажется мне основательным. О чем мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться О жаловании? Поскольку мои литературные занятия [дают мне больше денег], вполне естественно [пожертвовать им моими служебными обязанностями и т. д] Вы говорите мне о покровительстве и дружбе Это две вещи несовместные. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унизиться перед ним На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости.

Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной

Единственное, чего я жажду, это — независимости (indépendance), простите мне это слово ради вещи, с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку Не могу понять ужаса своих друзей (не очень-то знаю, — кто они — эти мои друзья).

Несомненно, граф Воронцов, человек неглупый, сумеет обвинить меня в глазах света победа очень лестная, которою я позволю ему полностью насладиться, ибо я столь же мало забочусь о мнении света, как о брани и о восторгах наших журналов» (XIII, 95—96 — французский текст, 528 — перевод; разрядка моя — *Т. Ц.*).

Е К Воронцова
Миниатюра работы Милле

В письме этом теснятся горькие мысли и чувства, многие из которых обрели потом и поэтическое выражение.

Так, мысль о том, что «ничто так не бесчестит, как покровительство», узнаем мы в словах монолога Алеко над колыбелью сына:

Что бросил я? измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Иль покровительства позор (IV, 451—452),

и в приведенных вариантах его — «Ни покровительством .. Ни клеветой...» (IV, 446).

Стих «Толпы безумное гоненье» — поэтическая трансформация мысли Пушкина в письме о том, что он мало заботится о мнении света.

Утверждение — «покровительство и дружба — две вещи несовместные» — наконец, потеря веры в дружбу, столь высоко ценимую Пушкиным с лицейских времен — «Не очень-то я знаю, — кто они —

эти мои друзья», — все это выразилось афористически спустя полгода в стихотворении, исполненном горечи:

Дружба

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор (II, 460).

Приведенные сопоставления подтверждают гипотезу о том, что монолог Алеко создан под влиянием мысли о предстоящем рождении у Воронцовой ребенка от Пушкина. Только неотвязными думами о грядущем событии можем мы себе объяснить такое запоздалое добавление к законченной поэме, добавление, вызванное не органическим требованием искусства, добавление, так и не нашедшее места в поэме.

В январе 1825 года пишет Пушкин стихи на французском языке.

Почему по-французски?

По обычаю, распространенному в ту эпоху в дворянских семействах, Пушкин сочинял в раннем детстве французские стихи; в лицее писал он французские стихотворения, большинство которых для француженки Марии Смит, урожденной Шарон-Лароз. Написал он на французском языке позднее, в 1821 году, две беспощадные эпиграммы — на француженку Аглаю Давыдову, урожденную герцогиню де Грамон. И вот в 1825 году вновь пишет он стихи на французском языке — в последний раз.

Это поэтические, необыкновенно тонкие стихи об увядшей розе. Они предназначались для польки, но женщины французской культуры, во всяком случае — французской речи, — Воронцовой.

Здесь приведу лишь мнение поэта С. П. Боброва (в ответ на мою догадку): «Конечно, это ей: Элизей, Элизий, — это же звуки ее имени — Элиза» (вспомним и «Прозерпину»).

Quand au front du convive, au beau sein de Délie
La rose éblouissante <?> a terminé sa vie
Soudain [se détachant] de sa tige natale
Comme un léger soupir sa douce âme s'exhale,
Aux rives [Elysées] ses mânes parfumés
Vont charmer du Léthé les bords inanimés (II, 376).

Перевод:

Когда на челе пирующего, на прекрасной груди Делии
Ослепительная <?> роза кончила жизнь свою

Внезапно [отрываясь] от родного стебля,
Как легкий вздох ее нежная душа испаряется,
У берегов [Элизийских] благоуханные тени ее
Зачаруют безжизненные берега Леты (II, 1206).

Стихотворения Пушкин не закончил и написал — тут же, на этом же листе — стихи на русском языке на ту же тему. Он опустил лишь мотив первого стиха — античный образ пирующего в венке и вневременной образ женщины с розой на груди.

Здесь только увядающая роза, и даже розы.

Лишь розы увядают,
Амврозией дыша,
[В Э<лизий>] улетает
Их легкая душа.
И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут (II, 377).

Здесь отзвуки рифмы из черновика «Прозерпины»:

Льются Леты струи <сонны> <?>
Немы рощи <благовонны> <?> (II, 833).

Образ здесь еще тоньше: благовонны не рощи, а тени роз (в значении загробные тени).

Это образ из французского текста:

ses mânes parfumés.

Четырехстопный хорей «Прозерпины» переплавил поэт в трехстопный ямб — «Лишь розы увядают...» — и достиг этим еще большей легкости в выражении образа.

Сперва написал он:

В Элизий отлетает.

Звук показался чуткому слуху поэта тяжелым для выражения души розы, и появилась замена благозвучным:

В Элизий улетает
Их легкая душа.

Быть может, в это же время, в какие-то светлые дни, живая натура Пушкина победила надлом, и поэт пишет стихотворение, овеянное мягким воспоминанием. Мы узнаем в нем уже знакомый пейзаж «пещеры дикой», «приюта любви».

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.

Его таинственная сила
< >
Слова святые начертила
На нем безвестная рука (II, 475).

«Ангел утешенья»... Этот образ мы знаем по стихам «Младенцу». Там назван этими нежными словами младенец, здесь — она.

И вот — новое выражение страдания. Пушкин воспользовался старым черновиком стихотворения 1823 года «Когда любовию и счастьем утомленный...».

При новом обращении к этому тексту тема круто повернута. Здесь — страданье! Страданье воинствующее. Поэт боится, что теряет любимую, он жаждет возродить ее чувство, память о себе.

Желание славы

Когда любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой
коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя;
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить
приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные
взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты
счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить
не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не
позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслажденьем весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день
разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы,
муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый
в пустыне.
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб
ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту
разлученья (II, 392—393).

И наконец, быть может, еще одно стихотворение 1825 года связывается с Воронцовой. Под текстом — в автографе — помета: «Тригорское 23. 1825». Месяц не проставлен.

«Все в жертву памяти твоей...» Но не к умершей ли женщине обращены слова «в жертву памяти твоей»? — Пушкин применял эти образы и к живым, но далеким:

Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

За каждым стихом мы угадываем живые черты действительности, поэт отказывается от всего ради нее. Но он чувствует, что ей это не нужно... И все свои безграничные жертвы приносит он не ей, а ее памяти...

Это одно из самых сильных любовных стихотворений Пушкина по напряженному чувству, по порыву (ни одного глагола):

Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья (II, 433) [144].

3. Отголоски

Время идет. Приходят новые увлечения. Но образ Воронцовой, воспоминания о ней порой воскресают в нем с пронзительной силой.

Так, мы видим вдруг ее монограмму в рукописи стихотворения

«Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора...»
(III, 36).

Перед стихами читаем мы такую помету: «23 Nov<embre> [145] C<ело> Козаково EW». Это 1826 год. Пушкин свободен от ссылки, он уже вернулся из Москвы, куда ездил по вызову нового императора, провел две недели опять в Михайловском и вновь едет в Москву. Село Козаково — на пути из Михайловского в Псков [146]. И вот тут Пушкин пишет несколько стихотворений на одном большом листе («Ольга, крестница Киприды...», «Зимняя дорога», «Каков я прежде был...», «Как счастлив я, когда могу покинуть...», «В еврейской хижине лампада...»).

Стихи «Как счастлив я, когда могу покинуть...» — это монолог князя из раннего, несохранившегося текста драмы «Русалка»; драма писалась в 1829 — 1832 годах, а вот эта редакция монолога князя — еще в ноябре 1826 года (это единственный фрагмент, который сохранился от первоначального текста).

Какое отношение имеет Воронцова к этому тексту? Быть может, просто совпадение, возникло воспоминание о ней — и поэт записывает над стихами ее монограмму? А может быть, что-то тайно связывает образ любимой князем русалки с образом Элизы?

Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды;
Дыханья нет из уст ее, но сколь
Пронзительно сих влажных уст
Прохладное лобзанье без дыханья,
Томительно и сладко: в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде...
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается, тогда
Мгновенный хлад, как ужас пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь,
Хочу стонать и пить ее лобзанье.
А речь ее... (III, 36—37).

Это сближение даже не гипотеза, а робкий вопрос, — не так ли? — попытка понять, почему записана ее монограмма над текстом стихотворения.

Издавна связывали с Воронцовой стихотворение «Ангел» (датируется оно 1827 годом, с января по 20 июля).

Решительно утверждать соотнесение обоих стихотворения «Ангел» с Воронцовой и Раевским данных нет, но, как мы видели, Воронцова была названа в стихах Пушкина «ангел-утешитель», а Раевского отождествляли современники с образом демона в стихотворении «Демон» (1823 г.).

В 1826 году Пушкин узнает, что среди арестованных декабристов находится и Александр Раевский. И с невероятной щедростью души он пишет Дельвигу тревожные строки: «Милый барон! вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай бог, чтобы было понапрасну. Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для

него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня. Прощай, мой милый друг.
П.» (XIII, 256).

Эта великодушная тревога освободила поэта от ненависти к А. Раевскому. И вполне допустимо видеть в стихотворении «Ангел» образы Воронцовой и Раевского [147].

Ангел

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал

И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, он рек, тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всé я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал» (III, 59).

В последних стихах точно бы заключено развитие образа Демона. Утверждению демонического начала:

И ничего по всей природе
Благословить он не хотел —

противопоставляется новое чувство — Демон, ощутивший любовь, очеловечен

Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал...

Послав вместе с другими стихотворениями «Ангела» 20 июля 1827 года на рассмотрение Бенкендорфу (на царскую цензуру), Пушкин уехал в Михайловское. Здесь почувствовал он себя в привычной рабочей обстановке. Он стал писать.

31 июля 1827 года Пушкин начал повесть о своем предке Ибрагиме Ганнибале, названную редакторами после смерти писателя «Арап Петра Великого».

В первой главе рассказывается, в частности, и о связи негра со встреченной в Париже графиней и о рождении у нее черного младенца.

Темы черного младенца от белой женщины нет ни в немецкой биографии Абрама Ганнибала, которой располагал Пушкин, ни в преданиях, которые он о нем слышал и внес в его биографию (в «Начале автобиографии» Пушкина). Там есть другое.

«В семейственной жизни, — читаем мы в «Начале автобиографии» Пушкина, — прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре...» (XII, 313).

О дальнейших семейных событиях жизни прадеда Пушкин писал: «Вторая жена его, Христина Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле оберкомендантом и родила ему множество черных детей обоего пола».

Возникает догадка, что рассказ о рождении черного младенца у белой графини в повести навеян переживаниями самого поэта.

В повести этой в наше время никогда не видели автобиографических мотивов Пушкина. Только когда несколько лет тому назад я рассказывала Анне Андреевне Ахматовой и Сергею Михайловичу Бонди первый очерк настоящей работы и сказала, что фрагмент прозы «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе...» (о нем речь впереди) связан с рождением у Воронцовой дочери от Пушкина, — Анна Андреевна с живостью сказала: «Так же как и «Арап Петра Великого». Она имела в виду тот же эпизод — рождение темнокожего младенца.

Внимательное прочтение первых глав «Арапа Петра Великого» показывает, что

в нем заключено неизмеримо больше аналогий с личными переживаниями Пушкина.

«Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar» (VIII, 4).

«Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17 лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном

приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество» (VIII, 4). Здесь угадываются черты графини Воронцовой.

«Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами» (VIII, 4).

Далее в рукописи следовал абзац, зачеркнутый Пушкиным карандашом:

«Графиню почитают, сказал он Ибрагиму, женщиной умной и холодной, имеющей любовников от нечего делать. Это мнение несправедливо. Она проста, имеет пылкие чувства, и любовь главное дело ее жизни. В обществе она рассеянна и ленива; это придает какую-то заманчивость ее словам. Ее странные вопросы, загадочные ответы вольно принимать за эпиграмматические выходки или за глупости; мы, т. е. близкие ее приятели, из дружбы, прославили ее оригинальность и остроту. Впрочем, она женщина самая добрая, самая милая. Познакомьтесь с нею короче, вы ее полюбите и удостоверитесь, что ограниченность ее ума почти незаметна от избытка простодушия и чувствительности» (VIII, 502).

Как напоминают эти слова Мервиля мнение о Воронцовой Александра Раевского: «Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер — самый очаровательный, какой я знаю». Так писал о Воронцовой Александр Раевский сестре своей в 1822 году [148]. Подобное же мог он говорить и Пушкину в Одессе.

Читаем далее: «Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием» (VIII, 4—5).

Вот эти последние слова останавливают наше внимание: «Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием». Так неожиданно перебивают эти слова развиваемую тему (при чем тут ничтожество?..), что создается впечатление, что речь идет не о негре среди белых, а о поэте среди обыкновенных людей. Кажется, что автор забылся и проговорился, выдал свои настоящие мысли и чувства. Перечтем этот абзац и подслушаем наряду со словом «негр» другое слово — «поэт», звучащее здесь обертоном. Тогда последняя фраза будет совершенно естественно вытекать из предыдущего.

«Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами» (VIII, 5). Опять вспоминаются слова Пушкина о себе: «черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан» (XIV, 110).

«Разговор его был прост и важен...» (VIII, 5).

Сравним эту характеристику разговора героя повести с тем, какое впечатление производил разговор самого Пушкина.

Вот как, например, записывает в дневнике графиня Фикельмон свои первые впечатления от Пушкина: «Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в цвете лица и что-то дикое во взгляде» [149].

Здесь то же противопоставление некрасивой внешности и привлекательной, непринужденной беседы, характерное для героя повести «Арап Петра Великого».

Можно усомниться, задать вопрос: мог ли Пушкин видеть себя со стороны, объективно описывать себя, — «разговор его был прост и важен» [150]. Конечно, мог! Автор более пятидесяти автопортретов (в графике); человек, знающий себя, как никто; поэт, внимательно рассматривающий в поэзии все тончайшие оттенки своего душевного состояния («Мне грустно и легко, печаль моя светла»), — почему же не может он оценить со стороны своего разговора?

«...он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду: он был высок

и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости» (VIII, 5).

Вот эта простота, доброжелательность — главное в характере Воронцовой. Мы принуждены опять сопоставить эту последнюю фразу о героине повести со словами А. Раевского из его письма к Пушкину:

«Она приняла живейшее участие в вашем несчастии. <...> Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали; она выразила мне это со всей чувствительностью и прелестью, свойственными характеру Татьяны» (XIII, 530 — перевод).

Мервиль в «Арапе Петра Великого» — лицо эпизодическое — ярко охарактеризован в немногих словах. Помимо уже приведенных мест, о нем сказано только: «Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима» (VIII, 5).

Вот это сопоставление двух, казалось бы, взаимно исключающих проявлений — намеки на собственную близость с графиней, а затем поздравление Ибрагима с его успехом у нее, — передают свойства циничесой в чувствах натуры Александра Раевского. Это те же черты, которые проявились в его отношениях к Пушкину: ухаживая за Воронцовой, Раевский вкрался в дружбу Пушкина, заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его (рассказ Вигеля), а затем предал. Вспомним и стихотворение «Коварность».

А вот черновые строки из «Вновь я посетил...», из завершающих стихов, не включенных в окончательный текст:

Я помышлял <...>
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной —
И горькие кипели в сердце чувства (III, 1004).

И еще один отзыв о Раевском из воспоминаний Вигеля: «Раз на танцевальном вечере у графа случилось мне сидеть между Раевским и графом Александром Потоцким, братом *** <в рукописи: Ольги; то-есть — Нарышкиной> и по доброте своей выродком из Потоцких. Он сказал мне на ухо: «Позвольте мне вас предостеречь, вы так откровенно и приязненно разговариваете с вашим соседом, может быть, не зная, что это самый опасный и ядовитый человек». Я поблагодарил его и сказал потихоньку, что с такими людьми всегда говорю осторожно» [151].

Пушкин обогащает образ Ибрагима собственными чертами.

Вот что читаем мы о чувствах Ибрагима, расставшегося с графиней:

«Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек» (VIII, 10).

Вслед за этим в рукописи следовало:

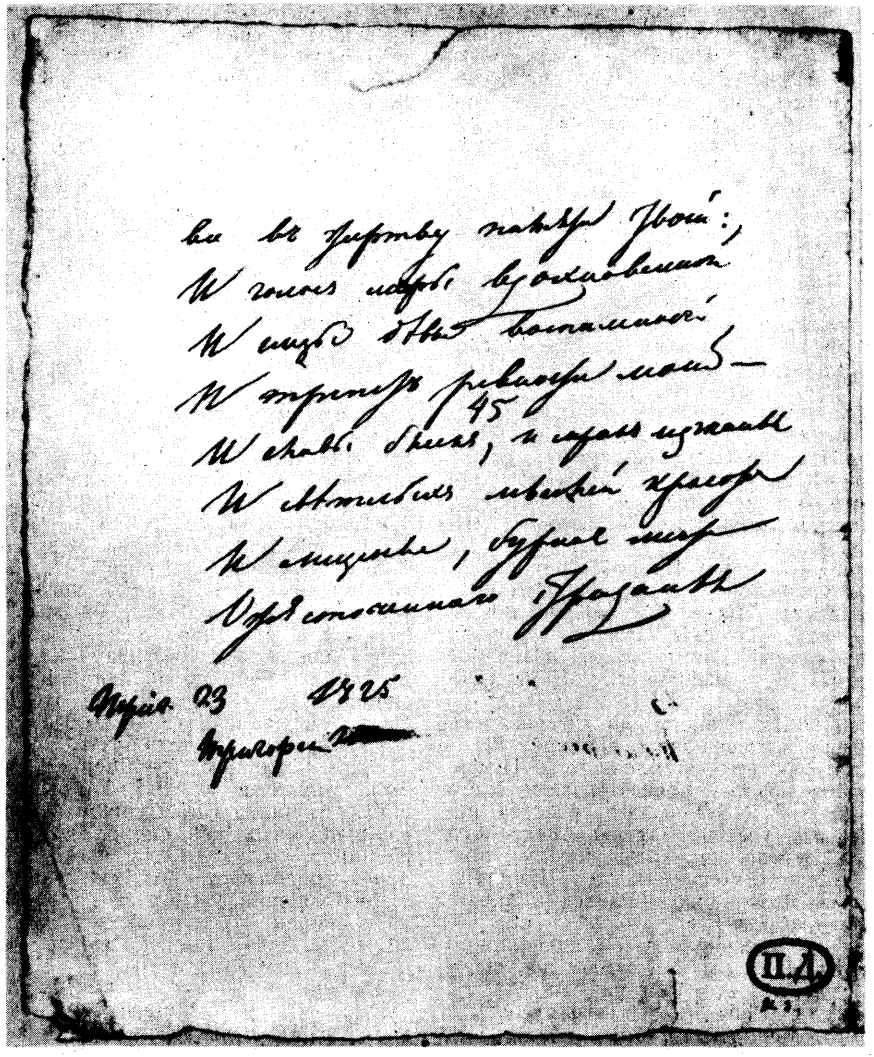
«Целый день он думал о гр.<афине> D., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движения, каждой ее мысли; в часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее комнату, садился подле нее, разговаривал с нею, и мечтание постепенно становилось так сильно, так ощутительно, что он совершенно забывался» (VIII, 506).

Строки эти перечеркнуты.

Этим реальным ощущением того, что было только в мечтах или было, но отошло, отличался сам Пушкин. «Пушкин говаривал, что, как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в такомто месте будет толчок, одевает ей плечи целует у нее руку и пр.» [152].

Нельзя не обратить внимания на следующие слова в приведенном абзаце из повести: «В часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней...» Вот это острое воспоминанье о в р е м е н и свиданья не то же ли это присущее Пушкину обостренное чувство времени, которое отразилось в стихах:

Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна... (II, 348).



«Все в жертву памяти твоей...» Автограф.

В следующем отрывке из III главы читаешь словно не об Ибрагиме, а о Пушкине.

«Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно не знал скуки. <...> Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы

и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу» (VIII, 13—14).

Вспоминается:

Не правда ль: ты одна... ты плачешь...
я спокоен;
. . . . . .
Но если . . . . . .
(II, 348).

Прочтем еще письмо графини D., которое привез Ибрагиму из Парижа Корсаков. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом» (VIII, 14).

Обстоятельства отъезда Пушкина были иные. Но тон! — угадывается ее тон, Воронцовой, особенно в последних строках: «Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь» (мы еще вернемся к этому).

Еще маленькое сопоставление. Ибрагим пишет прощальное письмо Леоноре, покидая Париж: «...Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию...» (VIII, 91). Не мысль — образ в стихах.

Когда любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя... (II, 392).

Приведу фрагмент из «Арапа Петра Великого» — разговор о графине между Ибрагимом и Корсаковым:

«Ну, что графиня D.»? — «Графиня? Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R., что же ты вытаращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным, разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце» (VIII, 15).

И еще одно место в повести. Ибрагим размышляет о женитьбе на молодой Ржевской: «От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением» (VIII, 27). Чувства эти словно предвещают письмо самого Пушкина к матери его невесты: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, — но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, — я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца» (XIV, 76 и перевод — 404). (Письмо написано 5 апреля 1830 года.) [153]

Психологическая основа повести — душевный опыт самого Пушкина.

Напомню и прямые свидетельства двух близких Пушкину современников его, которые совпадают с моей мыслью.

«Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки. Нигде он так не выразился, как в описании Чарского (см. «Египетские ночи»)». Это пишет брат поэта [154].

И другое:

«На днях Жуковский читал нам роман Пушкина, восхитительный: «Ибрагим, царский Арап». Этот негр так обворожителен, что ничуть не удивляешься страсти, внушенной им к себе даме двора регента; многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина». Таково впечатление С. Н. Карамзиной [155], близко знавшей Пушкина в течение всей его жизни — с 1816 года по 1837-й.

Первое произведение после «Арапа Петра Великого», которое связано с Воронцовой, это стихотворение «Талисман». В ав-

Е. К. Воронцова.
Литография Принцгофера.
1852 г. С портрета работы
Блааса.

Е. К. Воронцова. Рисунок
А. С. Пушкина.

Невский проспект
в Петербурге, вид
на Аничков дворец.

тографе дата Пушкина: «6 ноябр. ночью». Как установлено, это 1827 год.

Стихотворение является как бы антитезой к стихотворению 1824—1825 годов «Храни меня, мой талисман...», полемикой с ним. Если там поэт взывал к талисману о спасении его в бурю, в грозу, в эмиграции, в сраженье, если он заклинал тогда талисман о забвении любви, надежды, желания, то здесь душевно поэт предстает совершенно иным.

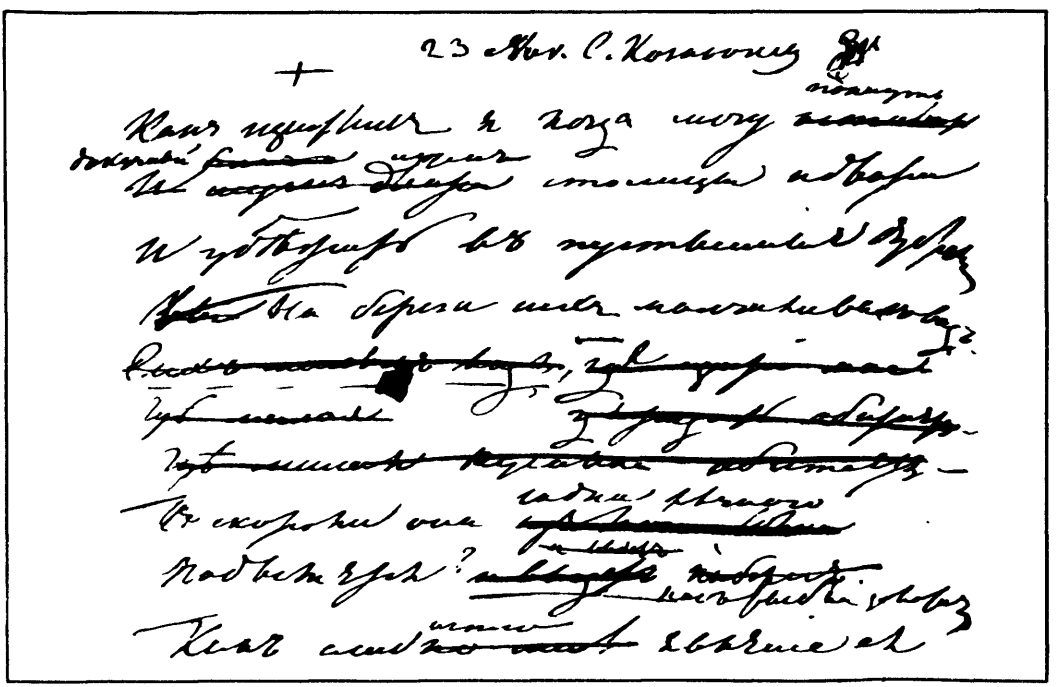
Талисман

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцалуют не любя —
Милый друг! от преступленья,

Монограмма над текстом стихотворения «Как счастлив я...».



От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!» (III, 83—84).

Чем вызван такой ликующий дифирамб любовной силе талисмана в ноябре 1827 года?

Оказывается, в это время в Петербурге (где тогда жил Пушкин) появилась Воронцова.

Об этом узнаем мы из автобиографии М. С. Воронцова, который пишет, что они с женой «поздней осенью 1827 года» приехали из Англии в Петербург [156]. Пушкин знал уже, конечно, в это время об ее приезде [157].

Увидел ли он ее? Да, но несколько позднее. Воронцовы провели в Петербурге и весь декабрь, и январь 1828 года [158].

Записная книжка, которой служил «Almanach des Dames» 1824 года, заброшенная Пушкиным тогда же, понадобилась ему вновь в 1827 году. Зачем бы надо было вдруг вернуться к ней?.. На декабрьском листке к напечатанному названию месяца — Décembre — Пушкин приписал: 1827. И записал шесть дат и при них аббревиатуры — на французском языке:

12. pr. bil.
13 Jouk.
14 Semenov —
15. Corb.
16 Mag. Ang.
18 2 lett.

Приведу комментарий к этим записям, сделанный в свое время Д. П. Якубовичем:

«Записная книжка, служившая Пушкину для нескольких одесских записей, в глуши Михайловского, среди жизни, лишенной событий, сразу же оказалась отложенной в сторону, ненужной.

Пушкин воспользовался ею вновь только через три года. В декабре 1827 года он вписал на декабрьский листок 1824 года более поздним, уверенным и черным карандашом новый заголовок «1827».

Пушкин возвратился в Петербург и был в хлопотах по делу об «Андрее Шенье». Начало декабря 1827 года — также период почти полного отсутствия биографических фактов. Достаточно указать, что ни одна биографическая канва жизни Пушкина вовсе не знает ни одного из отмеченных Пушкиным чисел. К сожалению, именно поэтому и публикуемые карандашные записи, охватывающие подряд пять дней декабря (12—16), почти не поддаются комментарию. Их возможно условно расшифровать как запись о повседневных делах:

12. pr.<emier> bil.<let>.
13 Jouk.<offsky>.
14 Semenov —

Слово «Semenov» (вряд ли здесь обозначена фамилия артисток) может относиться к цензору В. Н. Семенову.

15. Corb. <?>.

Как гипотезу, объясняющую это неясное для меня слово (если только это не просто: corbeille — подношенье), предлагаю чтение «Corbeau». В 1826 году вышло в свет собрание «Chants populaires», в котором появилась баллада «Les Deux corbeaux», переведенная Пушкиным. Не в это ли время уже заинтересовался ею Пушкин? Напомню, что в позднейшем письме он назвал свой перевод просто «Вороном» [159]. Точная датировка начала работы Пушкина над «Двумя воронами» остается невыясненной, и стихотворение датируется 1828 годом по положению в тетради № 2371 (л. 99 об.).

16 Mag.<asin> Ang.<lais>.

Скорее всего здесь имеется в виду посещение магазина Никольс и Плинке, в котором Пушкин и позже делал различные хозяйственные покупки и отдавал в починку вещи домашнего обихода [160].

18 2 lett.<res> [161].

Последняя запись вся сделана чернилами, несколько расплывшимися и ввиду этого несколько деформировавшими почерк (Б. Л. Модзалевский читал: «2 lott.»).

Никаких писем Пушкина и к Пушкину за 12 и 18 декабря 1827 года до нас не дошло» [162].

М. А. Цявловский, знавший, что в декабре 1827 года Воронцова была в Петербурге, понял, что эти записи, так же как и записи в той же книжечке в 1824 году, связаны с нею. (Как мы видели, найденный впоследствии документ — письмо Вяземской к мужу из Одессы, написанное 1 августа 1824 года, — подтвердил эту гипотезу; он указал на то, что записью «31 départ» Пушкин отметил отъезд 31 июля Воронцовой (сам же он уехал 1 августа).

Мстислав Александрович и разъяснил эти тексты соответственно этим соображениям:

12 — pr. bill. — первая записка.

Речь идет о Воронцовой.

Пушкин делал пометы о датах получения важных для него писем от женщин. О своих письмах к женщинам он не записывал. Тут могло быть иначе. Может быть, именно его первая записка в Петербурге должна была быть особенно важной — она положила начало новому периоду отношений.

13 — Jouk —

по-видимому, какая-то встреча с Воронцовой, связанная с Жуковским.

14 — Semenov —

может быть, Семеновская улица? Во всяком случае, судя по условной черточке вслед за словом «Semenov», речь идет об интимном свидании.

15 — Corb. — corbeille —

подношение или корзина цветов.

16 — Mag. Ang. —

тут, конечно, речь не о починке вещей. В Magasin Anglais был и ресторан, и кафе, и отдельные кабинеты, и выход на другую улицу.

18 — 2 lett —

второе письмо или два письма.

Как видим, все эти сугубо личные пометы дают лишь какой-то намек на тайные свидания Пушкина с Воронцовой в декабре 1827 года.

Были ли явные встречи в обществе? В письмах Елизаветы Ксаверьевны этого времени из Петербурга А. М. Горчакову в Италию (они подружились во время заграничного путешествия Воронцовых 1827 года) нет ни слова о лицейском его приятеле [163].

Не забывает Воронцовой Пушкин и дальше. И среди записей имени и инициалов девушки, о браке с которой поэт мечтает осенью 1828 года («Olenine», «Annette Pouchkine», «Annette», «AP»), мы встречаем и «заветный вензель» — «EW» [164]

Памятью о Воронцовой навеяны рисунки ее головы в 1829 году и записи ее имени в так называемом «Дон-Жуанском списке» Пушкина. По требованию своих приятельниц, сестер Ушаковых, Пушкин вписал однажды в альбом младшей два списка женщин, которых он любил и которыми он увлекался [165]. В первом списке оказалось имя Элиза [166]. Оно помещено между име-

нами Амалия и Евпраксея. Имеются в виду Ризнич и Вульф. Хронология соответствует действительной.

Среди множества портретов, которые рисует Пушкин Ушаковым, нельзя не узнать и портретов Воронцовой. Рисует он ее и в альбоме, и на отдельном большом листе. По значительности и прелести последнего портрета это одно из лучших произведений графики поэта.

В том же 1829 году Пушкин сватался к Наталье Николаевне Гончаровой. Он получил полуотказ (ей не было семнадцати лет) и тогда же уехал на Кавказ. Он хотел повидаться со своим любимым другом Николаем Раевским, с братом своим и сосланными декабристами.

Приехав на Северный Кавказ, он раскрыл одну из взятых с собою тетрадей и стал рисовать... Под его рукой возникает женская головка. Большие глаза с поволокой, вздернутый носик. Это не Гончарова, а Мария Николаевна Волконская. Воспоминание девятилетней давности о пребывании на Минеральных Водах с семьей генерала Раевского. Но воспоминание связано с последним впечатлением от нее — перед ее отъездом в Сибирь, на каторгу. Серьезное, скорбное лицо.

И рядом портретик другой женщины — незабываемой, столь же глубоко любимой... Воронцова.

Обратимся к Болдину. 1830 год. Поэт творит с таким подъемом, что люди второе столетие изумляются этому неиссякаемому потоку вдохновенья. Пушкин живет здесь с сентября по ноябрь. Он отрезан от мира — холерный карантин не дает ему возможности выехать в Москву, где, к его ужасу, осталась его невеста. И вот в мрачном настроении, в ужасающую погоду, в безвыходном состоянии поэт творит... Он заканчивает «Евгения Онегина», пишет «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», около тридцати лирических стихотворений (по собственному подсчету Пушкина).

Среди лирических стихотворений — маленький набросок об увядшей розе.

Цветок любви! тому мгновенье

Так он начал и изменил:

Тому [одно, одно] мгновенье
Она цвела, свежа, пышна —
И вот уж вянет — и
[опалена].
Иль жар твоей груди
Младую розу опалил (III, 1060 и 465).

Образ этот искушает поэта и не дается ему. Он оставляет набросок недописанным.

Осенью 1830 года, готовясь к браку и отрываясь от своего прошлого, поэт писал прощальные стихи когда-то любимым женщинам. Два стихотворения обращены к умершим: «Заклинание» («О если правда, что в ночи...») и «Для берегов отчизны дальной...» (одно из них — неизвестной, второе — Амалии Ризнич). А с одной девушкой, на которой Пушкин в свое время собирался жениться, он простился иначе. Ушакова предстала в Болдинскую осень поэту-художнику и отозвалась в большом портрете, нарисованном Пушкиным и проникнутом нежным чувством [167].

К Воронцовой обращены стихи:

Прощание

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут меняясь наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его (III, 233) [168].

В автографе дата — «5 окт. 1830. Болд.<ино>».

Это «Прощание» удивительно по острому воспоминанию о близости любимой, по насыщенности мыслями, чувствами, по драматическому развитию, по поэтическому выражению.

Очень выразительны в этом смысле замены вариантов, сделанные поэтом в беловом автографе.

Стихи «Уж ты для своего поэта / Могильным сумраком одета» имели вариант: «для страстного поэта», но Пушкин вернулся к первому варианту — «для своего поэта»: конечно же, он ее поэт, сколько раз он воспевал ее!

В последнем двустишии проходит воспоминание о встрече на маленькой станции с Кюхельбекером, которого жандармы везли куда-то (в Динабургскую крепость, как мы знаем).

Это воспоминание вызвано мыслью о безнадежности прощанья, в вариантах были слова:

Как друг, навек обнявший друга
Пред заточением его (III, 843).

Однако прощание с Воронцовой оказалось не окончательным. Вскоре, в конце того же октября или в самые первые дни ноября, Пушкин возвращается к преследующей его теме увядшей розы. Вот как пишет он на этот раз, работая над «Каменным гостем»:

Не розу цветущую
Росой освеженную
Я ныне пою
Не розу Феосскую
Вином окропленную
В веселье пиров

Венчавшую некогда
Главу победителя
В блаж<енстве> <?> любви
Но розу блаженную
Но розу увядшую
На груди <твоей> <?>
(III, 868; факсимиле — VII, 312/313).

«Венчавшую некогда главу победителя» — это возвращение к образу французских стихов 1825 года — «Quand au front du convive...» («Когда на челе сотрапезника...»).

Когда Пушкин вернулся из Болдина в Москву, он читал, вероятно, своему ближайшему другу Павлу Воиновичу Нащокину написанные в деревне произведения. Вскоре на стихи «В последний раз твой образ милый...» была написана музыка. Композитором был человек, о котором заботились и Нащокин и Пушкин, — Андрей Петрович Есаулов, талантливейший музыкант, спившийся, полубезумный человек с тяжкой судьбой. По-видимому, Пушкин сам вручил ему рукопись своего нового стихотворения для того, чтобы Есаулов написал романс. Поэт ли надумал это? Или композитор? Вернее всего, о создании Есауловым музыки на стихи Пушкина позаботился добрейший Нащокин.

Вот что писал он Пушкину летом 1831 года: «Романс твой так хорош, что способу нет — переправлен, обдуман — чудо» (XIV, 179). Пушкин просит прислать ему этот романс, «исправленный во втором издании» (XIV, 181), и, не дождавшись, пишет вновь: «Что ж не присылаешь ты Есауловского романса, исправленного во втором издании? Мы бы его в моду пустили между фрейленами» (XIV, 204).

Так это удивительное по глубине и интимности стихотворение, завершающее сюиту произведений Пушкина, связанных с Воронцовой, вошло в сознание общества вместе с музыкой [169].

Летом 1832 года Воронцова возвращалась из Англии в Одессу. По дороге она провела вновь недели две в Петербурге [170]. Ехала она с мужем и оставшимися в живых детьми: девятилетним Семеном и семилетней Софьей. Встретился ли с Воронцовой Пушкин в это время? Несомненно (об этом скажу далее). Увидел ли он дочь? Неизвестно. Случайно узнаем мы из одного позднейшего письма, 1849 года, Н. Н. Пушкиной ко второму мужу, что она познако-

милась с графиней Воронцовой в 1832 году. «Она не могла опомниться; никогда, сказала она, я бы не узнала Вас, потому что, даю Вам слово, Вы и на четверть не были так красивы, как теперь. Я бы затруднилась дать Вам сейчас более 25 лет. Вы показались мне тогда такой тщедушной, такой бледной, такой маленькой, но ведь Вы удивительно выросли». Вот уже второй раз этим летом мне говорят это», — прибавляет Наталья Николаевна [171].

Встреча Пушкина с Воронцовой в 1832 году состоялась, по-видимому, на людях, на каком-то вечере, в присутствии жены Пушкина, вероятно, и мужа Воронцовой.

Казалось бы, все? Но нет, в начале января 1833 года поэт возвращается к своему недоработанному в 1830 году стихотворению об увядшей розе. Вот как зазвучало оно в окончательном виде:

Отрывок

Не розу Пафосскую,
Росой оживленную,
Я ныне пою;
Не розу Феосскую,
Вином окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персях увядшую
[Элизы] моей... (III, 258).

Поэт воспевает не символ любви, не символ лирической поэзии, но одну-единственную розу —

...розу счастливую,
На персях увядшую
[Элизы] моей.

Здесь впервые написал Пушкин в стихах имя своей возлюбленной, звуки которого он воспроизводил в «Прозерпине» («Элизей»), и в стихах «Quand au front du convive...» («Aux rives Elysées»), и в стихах «Лишь розы увядают...» («В Элизий улетает их легкая душа»). Назвал имя и зачеркнул.

В «Отрывке» «Не розу Пафосскую...» завершились многократные порывы воспеть «утеху грусти нежной» — «дар возлюбленной» — когда-то отданную поэту розу.

В печать он этих стихов не отдал.

В собраниях сочинений Пушкина печатается один текст, который еще не нашел достойного объяснения. Это прозаический фрагмент в несколько строк:

«Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное доверчивое ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой преступницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу — и остается неподвижен...» (VIII, 414).

Датируют этот фрагмент теперь временем «около 1833 г.» (VIII, 1060).

Первый публикатор этого фрагмента, Н. В. Измайлов, высказал предположение, что он должен относиться к эпизоду жизни А. П. Ганнибала. Исследователь напоминал запись приятеля Пушкина, А. Н. Вульфа, занесенную им в дневник 16 сентября 1827 года, в то время, когда Пушкин писал «Арапа Петра Великого»: «Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь».

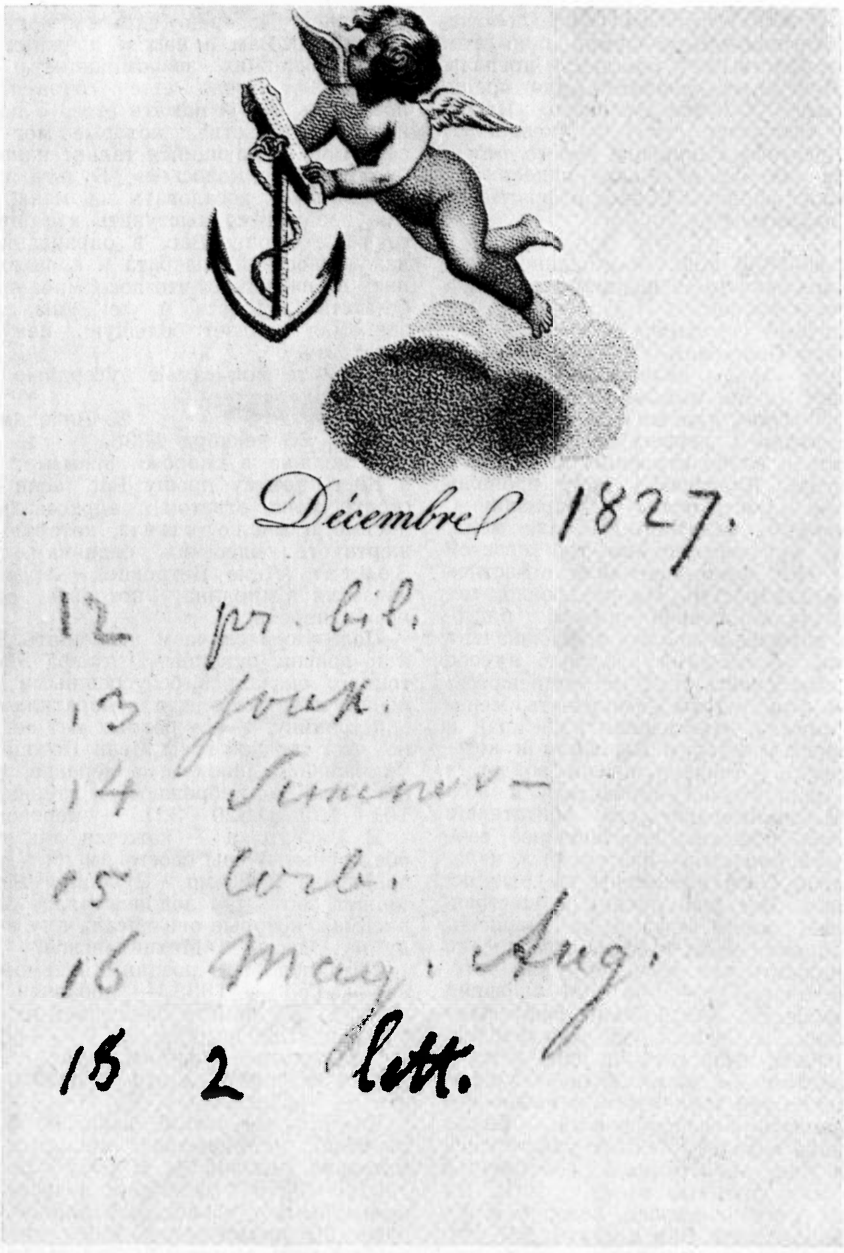
Однако, говорит Измайлов, «отрывок носит чисто личный, лирический оттенок размышления, а не повествования», тогда как «роман о царском арапе ведется строго эпически»; это заставляет исследователя отвести возможность приурочения отрывка к «Арапу Петра Великого». Он допускает, что отрывок относится к «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» [172] (или, как теперь ее называют: «Начало автобиографии» Пушкина 1830-х годов).

Гипотеза эта не была принята исследователями Пушкина, и отрывок помещается в томах «Художественной прозы», однако без каких бы то ни было комментариев.

Во фрагменте нет решительно никаких данных, чтобы судить о том, «какого цвета» был муж «милой преступницы» и «какого цвета» был новорожденный младенец.

Это и навело меня в свое время на мысль, что этот фрагмент неизвестного происхождения может быть связанным с рождением у Воронцовой смуглого младенца. Но думаю, что я ошибалась.

Едва ли бы стал Пушкин прямо писать на эту тему, обрабатывать текст отрывка, подыскивая лучшую форму (в черновике много вариантов) изложения. А в иносказательной форме это волновавшее его событие было уже описано поэтом в первой главе «Арапа Петра Великого».



Записи о декабре 1827 г.
в «Almanach des Dames»

Ю. Г. Оксман высказал предположение, что отрывок «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе...» предназначался Пушкиным, вероятно, для предисловия к «Арапу Петра Великого». Исследователь связывает его с рождением у жены Ибрагима Ганнибала белого ребенка [173]. Гипотеза эта не была поддержана в дальнейших работах. Вопрос о фрагменте остается открытым.

В начале 1834 года неожиданно получает Пушкин письмо (в подлиннике оно на французском языке):

«Милостивый государь,

Александр Сергеевич,

Право, не знаю, должна ли я писать Вам и будет ли мое письмо встречено приветливой улыбкой, или же тем скучающим взглядом, каким с первых же слов начинают искать в конце страницы имя навязчивого автора. Я опасаюсь этого проявления чувства любопытства и безразличия, весьма, конечно, понятного, но для меня, признаюсь, мучительного по той простой причине, что никто не может отнестись к себе беспристрастно. Но все равно; меня побуждает не личный интерес: благодеяние, о котором я прошу, предназначено для других, и потому я чувствую в себе смелость обеспокоить Вас; не сомневаюсь, что и Вы уже готовы выслушать меня. Крайняя нищета, угнетающая наш край и самый город, в котором Вы жили и который благодаря Вашему имени войдет в историю, дала случай проявиться в полной мере милосердию его обитателей. Образовалось общество, поставившее себе задачей осуществление благородной цели, ради которой были принесены щедрые пожертвования. Бог благословил общественное усердие, много слез было осушено, многим беднякам была оказана помощь; но надо продолжить это дело, и для того, чтобы увеличить средства для оказания помощи, общество беспрерывно возбуждает любопытство и использует развлечения. Между прочим, было сделано одно литературное предложение; кажется, оно осуществимо, судя по той горячности, с какою его стали развивать и поддерживать. Мысль об альманахе в пользу бедных удостоилась одобрения лиц, влиятельных собственной помощью или помощью своих друзей. Из программы этого альманаха, которую я беру на себя смелость Вам послать, Вы увидите, как он будет составлен. Теперь, когда столько лиц обращаются к нашим литературным светилам с призывом обогатить наш «Подарок бедным», могу ли я не напомнить Вам о наших прежних дружеских отношениях, воспоминание о которых Вы, может быть, еще сохранили, и не попросить Вас в память этого о поддержке и покровительстве, которые мог бы оказать Ваш выдающийся талант нашей «Подбирательнице колосьев». Будьте же добры не слишком досадовать на меня, и, если мне необходимо выступать в защиту своего дела, прошу Вас, в оправдание моей назойливости и возврата к прошлому, принять во внимание, что воспоминания — это богатство старости, и что Ваша старинная знакомая придает большую цену этому богатству.

Примите мои самые усердные приветствия.

Е. Вибельман <?>

Одесса, 26 декабря 1833.

Я должна в скором времени выехать в Киев, потому прошу Вас (если Вы удостоите меня ответом) адресовать Ваше письмо и м и л о с т ы н ю, которую Вы пожертвуете одесским беднякам, госпоже З о н т а г (Анне Петровне) через Вашего издателя Смирдина, который состоит с нею в переписке.

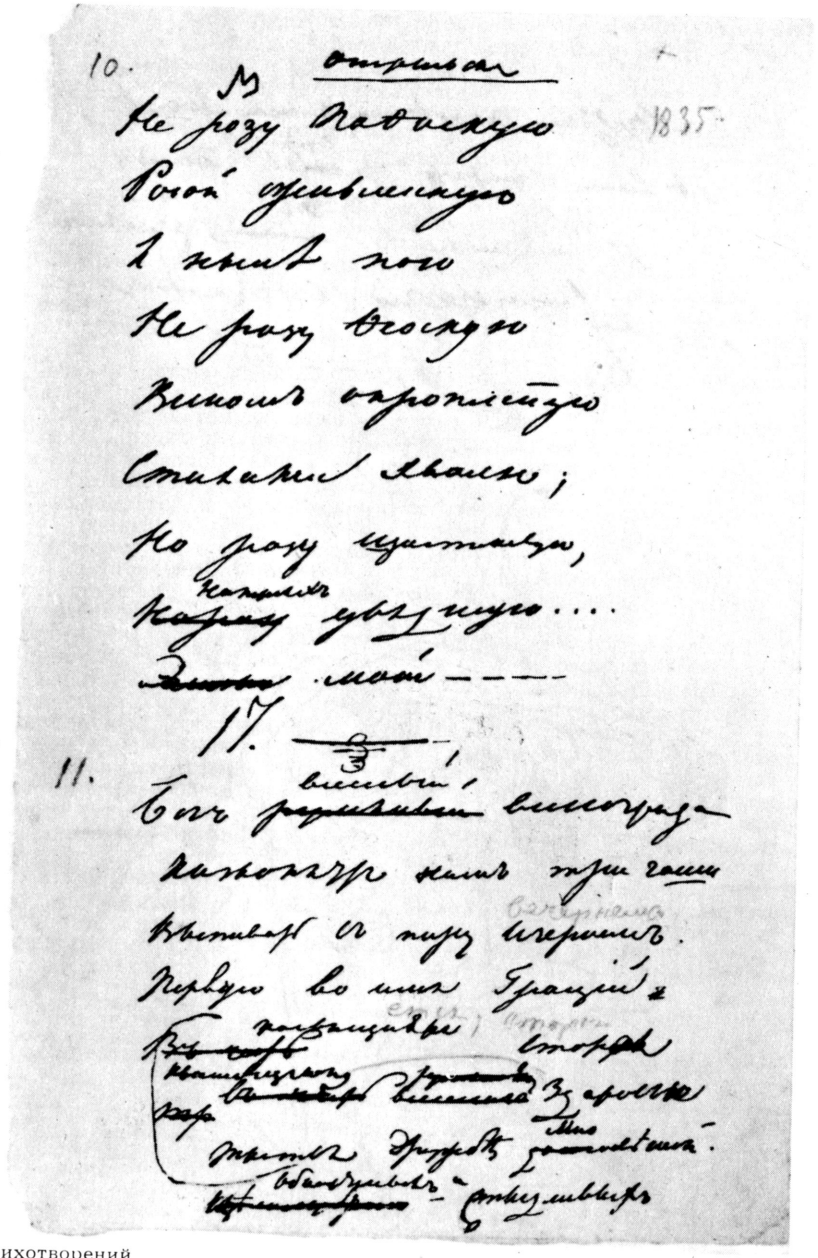
Пользуюсь случаем сообщить Вам, что мои поиски рукописи [174] графа Ивана Потоцкого оказались безуспешными. Вы, конечно, понимаете, что я обратилась к первоисточнику. У его родных нет ее; возможно, что, так как граф Иван Потоцкий окончил жизнь одиноким, в деревне, рукописи его были по небрежности утеряны» (XV, 101—102 и 320—321 — перевод).

Е. Вибельман — кажется, так, сохраняя обе первые буквы своего имени и фамилии подписала письмо Пушкину Воронцова. Может быть, так подписывалась она в тех письмах, которые она писала ему в 1824 году из Одессы в Михайловское?

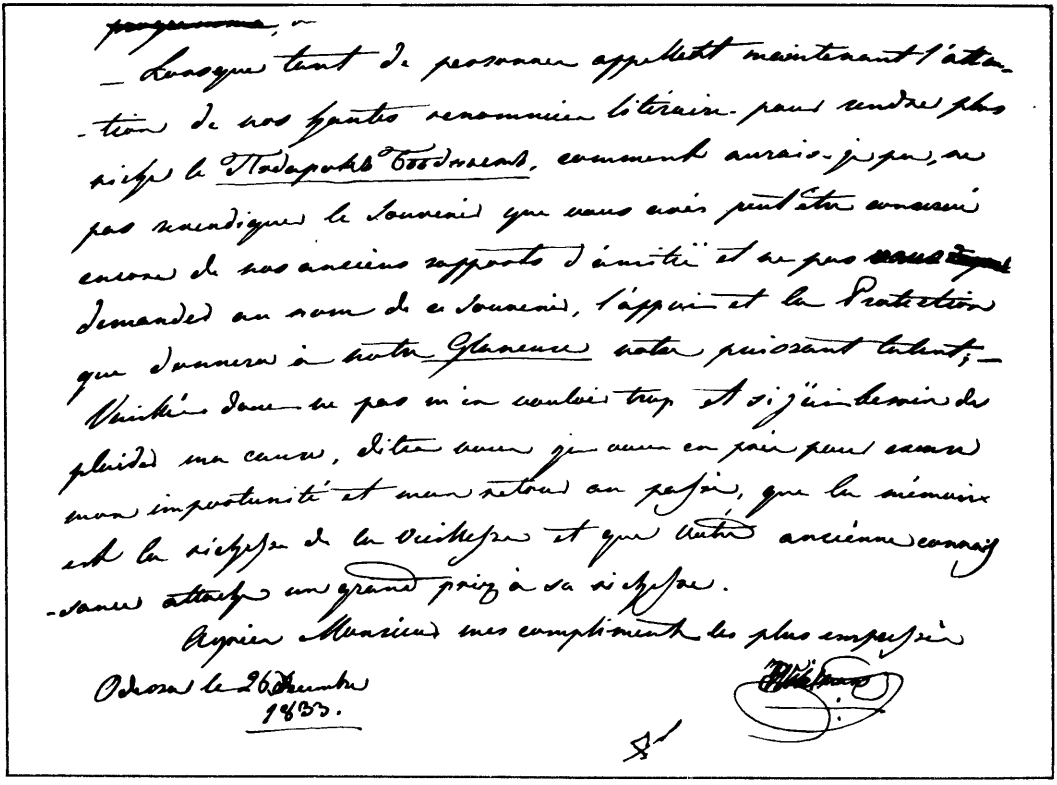
Дата под этим поздним письмом: 26 декабря. Год — 1833 — добавлен Пушкиным [175]. Эта помета заключает их переписку, как «Une lettre de L. V.». — 5 сентября 1824 года — начинала ее. То было первое ее письмо, а это — девять лет спустя — последнее...

То, что это письмо написано Е. К. Воронцовой, установлено окончательно сравнительно недавно [176]. К ряду бесспорных доказательств, начиная с почерка письма, приводимых исследовательницей, можно было бы присоединить еще одно: мысль, что «город, в котором Вы жили и который благодаря Вашему имени войдет в историю», является, в сущности, первым

Рисунки А. С. Пушкина.
Внизу, направо —
Е. К. Воронцова.



Автограф стихотворений А. С. Пушкина «Не розу Пафосскую...» и «Бог веселый винограда...».



Письмо Е. К. Воронцовой
к А. С. Пушкину.

выражением мысли Воронцовой, высказанной, когда поэта не стало. «Статья, сегодня помещенная в «Journal d'Odessa» по случаю смерти Пушкина, — писал 12 февраля 1837 секретарь Воронцова М. П. Щербинин редактору «Одесского вестника» А. Г. Тройницкому, — принята была всеми, а в особенности графинею Воронцовою с восхищением. Так как, вероятно, она же, т. е. статья сия, будет помещена и в «Одесском вестнике», то я спешу повергнуть пред вами мысль, родившуюся у графини Елисаветы Ксавериевны, т. е., что большая часть стихотворений Пушкина созданы были в Одессе, во время его здесь пребывания. Мысль сия достойна быть обработанною. Впрочем, бог знает, что скажут в Петербурге» [177].

Сквозь сдержанный тон письма Воронцовой пробиваются искренние, чисто женские интонации, не лишенные робости и вкрадчивости, — ими письмо начинается и ими оно заканчивается.

Ответ Воронцовой о поисках рукописи Потоцкого и дает основание для утверждения, что она встретилась с Пушкиным незадолго до письма (они не переписывались, а она исполняет его просьбу). Очевидно, во время случайной встречи летом 1832 года спрашивал ее Пушкин о рукописи романа Ивана Потоцкого [178].

Это позднее письмо Воронцовой к Пушкину — единственное, ставшее нам известным. Другие не уцелели. Он сжег их, очевидно, ради сохранения тайны их любви.

Сожгла и Воронцова на склоне лет письма Пушкина [179].

В 1956 году в Польше, в фонде Потоцких, в Краковском архиве, было обнаружено письмо Пушкина к графине Е. К. Воронцовой — единственное, сохранившееся до наших дней. Это был ответ на только что приведенный текст письма «Вибельман».

«Милостивая государыня.

Елизавета Ксаверьевна, — писал поэт, — вот несколько сцен из трагедии, которую я имел намерение написать. Я хотел бы положить к вашим ногам что-либо менее несовершенное; к несчастью, я уже распорядился всеми моими рукописями и предпочитаю лучше не угодить публике, чем ослушаться ваших приказаний.

Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?

Честь имею быть с глубочайшим почтением, милостивая государыня, вашим нижайшим и покорнейшим слугой

Александр Пушкин

5 марта 1834.

Петербург» [180].

Если фразу «я предпочитаю лучше не угодить публике, чем ослушаться ваших приказаний» можно еще толковать как светский оборот, как несколько преувеличенное выражение чувств, особенно характерное для стиля французского письма, то следующая фраза не допускает различных толкований. Здесь прорывается искреннее чувство: «Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?»

Добавим, что, по единодушному предположению исследователей Пушкина, под «несколькими сценами из трагедии», которую поэт «имел намерение написать», следует разуметь «Русалку». (Рукопись эта в архивах Воронцовых и Потоцких не обнаружена, а в альманахе «Подарок бедным», который вскоре вышел в Одессе, сцены Пушкина не напечатаны, они опоздали.)

Через месяц после этого письма Пушкина к Елизавете Ксаверьевне поэт слушал рассказы о Воронцовых от чиновника Бологовского, приехавшего из Одессы. Кратко занес он об этом в дневник: «Он (т. е. Б<олоховской>. — *Т. Ц.*) очень зло отзывается об одесской жизни, о гр. Вор<онцове>, о его соблазнительной связи с О. Н<арышкиной> etc. etc. Хвалит очень графиню В<оронцову>» (XII, 325).

Эти слова — последнее, что Пушкин записал о женщине, которую он когда-то так горячо любил.

Остается еще один эпизод, имеющий прямое отношение к рассказанному выше.

В 1828 году, 1 сентября Пушкин писал Вяземскому. В письме находятся и такие строки: «Перед княгиней Верой не смею поднять очей [181]; однако ж вопрошаю, что думает она о происшествиях в Одессе (Раев<ский> и гр<афиня> В<оронцова>)» (XIV, 27).

Пушкин имел в виду нашумевшую историю, дошедшую и до него. Александр Раевский, неизменно бывший другом дома Воронцовых, был неожиданно выслан из Одессы. Он был клеветнически обвинен в разговорах против правительства. На самом деле, как писал генерал Раевский (отец) Николаю I, «несчастная страсть моего сына к графине Воронцовой вовлекла его в поступки неблагоразумные, и он непростительно виноват перед графинею. Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, по всей справедливости, что мог он сделать образом благородным <...>. Граф Воронцов богат, военный генерал-губернатор, может деньгами и другими наградениями найти кого донесть и присягнуть в чем угодно графу Воронцову» [182].

Посылая копию своего письма к царю, дочери своей Екатерине Орловой Н. Н. Раевский дал такой текст: «Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, на средства он не разборчив, что уже **доказал прежде** (подчеркнуто в рукописи. — *Т. Ц.*) и может по богатству подкупить доносчика». К словам «уже доказал прежде» старик Раевский сделал примечание: «Т. е. Пушкина история» [183].

Из писем современника узнаем мы «о поступке глупом молодого Раевского с графинею, о том, что «Воронцов убит известною тебе историею графини», что «счастие его семейственное потеряно» [184].

Комментарий пушкиниста старшего поколения П. И. Бартенева: «А. Н. Раевский (Пушкинский Демон) с хлыстом в руках остановил на улице карету графини Е. К. Воронцовой, которая с приморской дачи ехала к императрице, и наговорил ей дерзостей. Его выслали в Полтаву» [185].

Поясняя этот рассказ Бартенева и назвав его «современной сплетней», пушки-

нист следующего поколения, М. О. Гершензон, рассказал следующее: «В семье сохранилось предание, что он (Раевский. — *Т. Ц.*) крикнул ей (Воронцовой. — *Т. Ц.*): «Soignez bien nos enfants» или «ma fille» [186].

Так или иначе, но до Пушкина этот рассказ дошел, и он должен был увидеть, что его отцовство оказалось сомнительным [187].

Кто был отцом Софьи Воронцовой — для нас значения не имеет. Нам важна психология Пушкина. Как мы видели, он считал девочку своей дочерью [188]. Поэтому выходка Раевского, мнения о которой Пушкин спрашивает Вяземскую, должна была оскорбить его и за Воронцову, и за самого себя.

Забыть этого Пушкин не мог. И когда восемь лет спустя он оказался жертвой грязной интриги, затеянной вокруг его имени авторами анонимного пасквиля, он вспомнил одесскую историю. Об этом пишет Пушкину Жуковский в одном из писем в середине ноября 1836 года:

«Вчера, к вечеру после бала заехал я к Вяземскому. Вот что à peu près [189] ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать, и тому подобное» (XVI, 186 и 395).

«Громкие подвиги Раевского», являвшиеся, по мнению Пушкина, верхом общественного вызова, должны были померкнуть рядом с мщением оскорбителю, задуманным Пушкиным.

«Воронцова до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей изменило, она приказывала читать их себе вслух, и притом сподряд, так что когда кончались все томы, чтение возобновлялось с первого тома. Она сама была одарена тонким художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинской беседы. С ним соединялись для нее воспоминания молодости» [190].

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Произведения и письма А. С. Пушкина цитируются по Полному собранию сочинений (тт. I—XVI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1949; т. XVII, Справочный, 1959). Все ссылки на это издание в тексте после цитаты в скобках — том, страница.

«Из записей П. И. Бартенева» — М. А. Цявловский. Из записей П. И. Бартенева (О Пушкине и гр. Е. К. Воронцовой). «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», т. XXVIII, вып. 3, 1969, стр. 267—276.

«Летопись» — М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1951.

«Рассказы о Пушкине» — «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851 — 1860 годах». Вступительная статья и примечания М. Цявловского. М., 1925.

«Рукою Пушкина» — «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.—Л., «Academia», 1935.

ВМП — Всесоюзный музей Пушкина (г. Пушкин).

ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

ГМП — Государственный музей Пушкина (Москва).

ПД — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЦГАгМ — Центральный государственный архив г. Москвы.

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. VI. М., 1892, стр. 84—85.

[2] Воронцова носила титул княгини с 1845 года, когда муж ее был пожалован в князья.

[3] Граф В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.—Л., «Academia», 1931, стр. 438.

[4] Эти рисунки сделаны не позднее 14 октября, на полях строф XXIII—XXIV главы первой «Евгения Онегина» — на лл. 11 и 12 тетради № 2369 Ленинской библиотеки (ныне № 834 Пуш-

кинского дома). Последняя дата определяется тем, что на л. 16 написан черновой текст письма к Вяземскому от 14 октября.

[5] К. Зеленецкий, Г-жа Ризнич и Пушкин (1856). В сб. «Отзывы о Пушкине с юга России». Собрал В. А. Яковлев. Одесса, 1887, стр. 138—139.

[6] Абрам Эфрос, Рисунки поэта. М.—Л., «Academia», 1933, стр. 125, 244—246 и др.

[7] Оно датировано в Академическом издании: «предположительно 13 июня — декабрем 1823 года» (II, 1134).

[8] Написано в январе — начале февраля (до 8) 1824 года (II, 1135).

[9] Рисунок на полях строфы XVI главы второй «Евгения Онегина» на л. 29 об. той же тетради — № 834 (бывш. 2369), датируется 1—3 ноября 1823 года.

[10] Воронцову в рисунках Пушкина узнавал еще П. В. Анненков. Лишенный возможности назвать ее (она была еще жива в то время), он писал: «...предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслию и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни» (П. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, стр. 245).

[11] Изображения эти находятся на полях строф XXIII — XXIV главы второй «Евгения Онегина», на л. 35 той же тетради — № 834. Строфы эти не поддаются более точной датировке, чем временем между 4 ноября и 8 декабря 1823 года.

[12] Л. 36 об. той же тетради — № 834. Датируется так же.

[13] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 124.

[14] Л. 37 той же тетради — № 834. Датируется так же. См.: Абрам Эфрос, Указ. соч., стр. 280.

[15] Л. 42 той же тетради — № 834. Текст и рисунки здесь датируются временем между 8 и 31 декабря 1823 года.

[16] Весь лист — в масштабе подлинника воспроизведен в Академическом издании Сочинений Пушкина т. VI, 1937, стр. 300/301.

[17] Двустишие это напечатано в Академическом издании среди черновиков «Евгения Онегина», под строфой X главы второй (VI, 300). Глава закончена 8 декабря 1823 года ночью (помета на л. 41 об. — VI, 299). Этот лист — 42 — заполнялся непосредственно вслед за л. 41 об.

[18] Тетрадь № 834, л. 50 — строфа V главы третьей. Начата она через два месяца после окончания главы второй, 8 февраля 1824 года.

[19] Стихотворение «Признание» написано в Михайловском, в 1824—1826 годах. Обращено оно к А. И. Осиповой.

[20] Если Пушкин ощущает в декабре 1823 года только «предвестия любви» к Воронцовой, то начался его роман с нею не в ноябре (как было высказано предположительно в «Летописи», стр. 413), а позднее. Надо теперь отказаться и от мысли, что черновые стихи «Когда желанием и негой утомленный...», написанные в ноябре 1823 года, обращены к Воронцовой. То, что они вошли — в измененном виде — в стихотворение «Желание славы», посвященное, бесспорно, ей, оказывается, не имеет значения. Отрывками из недописанных стихотворений Пушкин постоянно пользовался впоследствии для других произведений, не связанных с первыми замыслами и их вдохновительницами.

И стихотворение «Все кончено, меж нами связи нет...», написанное в январе — начале февраля 1824 года, считать обращенным к Воронцовой более не приходится.

[21] Цитата из «Горя от ума».

[22] «Перед внутренним форумом» (латин.), то есть среди своих служащих.

[23] Б. М. Маркевич, Из прожитых дней. Полн. собр. соч. М., 1912, т XI, стр. 396—398.

[24] См. приложение к «Journal d'Odessa», 1824, № 11 от 28 января и № 17 от 13 февраля. (Эти приложения имеются только в Одесской публичной библиотеке.) Впрочем, полагаться на точность сведений о приездах и отъездах, сообщаемых в этой газете, не приходится. Например, тут (в № 59 от 2 июня 1824 года) сообщается о приезде между 29 мая и 1 июня «коллежского секретаря Пушкина», тогда как известно из письма М. Ф. Орлова от 29 мая, что Пушкин приехал накануне.

[25] «Рукою Пушкина», стр. 300.

[26] То есть Кюхельбекера. — «Рукою Пушкина», стр. 295.

[27] Тетрадь № 834, л. 49 об.

[28] Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, № 10, стб. 1472.

[29] Это об его влюбленности в Воронцову говорил Соллогуб.

[30] Маленький черкес, приемыш А. Н. Раевского.

[31] Собака А. Н. Раевского.

[32] М. О. Гершензон, История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 45.

[33] М. В. Юзефович, Памяти Пушкина. «Русский архив», 1880, III (2), стр. 439—440.

[34] Ж. К. (псевдоним Н. И. Греча) в статье «Письма на Кавказ» («Сын отечества», 1825, № 3). Текст, на который отвечал Пушкин, указан Б. В. Томашевским (Пушкин, Полн. собр. соч., в десяти томах. Изд-во АН СССР, т. VII. М.—Л., 1951, стр. 662).

[35] Напомню реакцию Пушкина на напечатание стихотворения «Мой демон» (так

было названо стихотворение при первой публикации) в «Мнемозине», 1824, ч. III. Издателем сборника был Кюхельбекер совместно с В. Ф. Одоевским. «Не стыдно ли Кюхле напечатать ошибочно моего демона! Моего демона! после этого он и Верую напечатает ошибочно. Не давать ему за то ни Моря, ни капли стихов от меня» (Письмо Л. С. Пушкину от 4 декабря 1824 года — XIII, 126).

[36] Фамилия Воронцовой, замененная в печати тремя звездочками, восстанавливается нами по рукописи (автографу) «Записок» Вигеля. ЦГАЛИ, ф. 104 (Ф. Ф. Вигеля), оп. 1, ед. хр. 8, л. 17.

[37] То же.

[38] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 169—171.

[39] Два абзаца — «Несмотря на скромность...» и «Как все люди...» — печатаются впервые по рукописи (автографу) «Записок» Вигеля. ЦГАЛИ, ф. 104 (Ф. Ф. Вигеля), оп. 1, ед. хр. 8, лл. 17 об. — 18.

[40] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 171.

[41] См. «Летопись», стр. 447.

[42] По-видимому, 1 апреля.

[43] 22 апреля 1824 года Воронцов писал из Одессы Н. М. Лонгинову: «Маленькая наша очень крепко было заболела дней 6 тому назад в нашем отсутствии. Жена моя, которая тихонько с Нарышкиными ехала другой дорогой и ничего не знала, приехала на другой день и когда все шло как можно лучше...» (ПД, 23.633.CL XXII, б. 15, л. 38).

[44] А. А. Сиверс, Семья Ризнич (Новые материалы). «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, стр. 85—104.

[45] Приведенный здесь текст стихотворения несколько отличается от текста Академического издания. См. об этом статью Н. К. Гудзия «К вопросу о пушкинских текстах (О посмертном издании сочинений Пушкина)» в сб. «Проблемы современной филологии». М., изд-во «Наука», 1965, стр. 384—385.

[46] См.: Т. Цявловская, Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1970, стр. 25—27.

[47] Дата из «Записок» Вигеля, ч. VI, стр. 168.

[48] Фраза «Сим ударом» по «гордыню», замененная в печатном тексте многоточием, печатается по рукописи «Записок» (автограф) — ЦГАЛИ, ф. 104, оп. 1, ед. хр. 8, л. 18.

Вот текст предписания Воронцова от 22 мая: «Состоящему в штате моем коллегии иностранных дел г. коллежскому секретарю Пушкину. Поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский и, по прибытии в города Херсон, Елисаветград и Александрию, явиться в тамошние общие уездные присутствия и потребовать от них сведений: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные для этого уездными присутствиями. О всем, что по сему вами найдено будет, рекомендую донести мне» (К. Зеленецкий, Заметка о Пушкине. «Библиографические записки», 1858, № 5, стб. 138).

[49] Сюда в тексте «Записок» Вигеля сделано авторское примечание: «Рассказал он мне: «Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?» — «Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами», — отвечал я. «Так на что же они годятся?» — сказал он».

[50] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 171—172.

[51] В рукописи: «Вовсе для меня потеряны». По совершенно убедительному предположению С. М. Бонди, здесь допущена описка: Пушкин пропустил отрицание. Фраза должна была быть: «Эти 7 лет <...> вовсе для меня не потеряны». Пушкин имел, очевидно, в виду свое творчество, свои напечатанные произведения. Иначе как же объяснялись бы следующие слова: «Жалобы с моей стороны были бы не у места»?

Подобного рода описки встречаются у Пушкина очень часто. См.: С. Бонди, Черновики Пушкина. М., 1971.

[52] Имеется в виду 700 рублей ассигнациями в год. См. «Рукою Пушкина», стр. 830—833.

[53] См. Абрам Эфрос, Указ. соч., стр. 197 и 292—294.

[54] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 172.

[55] См. «Летопись», стр. 469.

[56] Там же, стр. 470.

[57] Этому свидетельство бумага исправляющего должность херсонского гражданского губернатора, вице-губернатора Фиренеля от 8 января 1825 года на имя Воронцова об отсылке в его канцелярию 430 р., выданных на прогоны чиновникам Чернявскому, Пушкину и Писаренко. См., «Летопись», стр. 552.

[58] «Летопись», стр. 471—473.

[59] К. Зеленецкий, Заметки о Пушкине. «Библиографические записки», 1858, № 5, стб. 137.

[60] В прежнее время эти строки включались в Собрания сочинений Пушкина, но в наше время они в Сочинения Пушкина не включаются; не введены они и в «Летопись» — эпизод с отчетом маловероятен.

[61] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 172.

[62] См. «Рукою Пушкина», стр. 836—837.

[63] «Из записей П. И. Бартенева», стр. 267.

[64] Руки Воронцовой видели мы только на двух ее портретах — английского живописца Хейтера и на литографии Принцгофера, 1852 года.

[65] О том, что Воронцова была музыкантшей, говорит ее изображение у органа, а также и сообщение Марии Раевской брату Николаю о том, что она переда-

ла — очевидно, по его поручению — графине оперу «Моисей» Россини. (См. письмо М. Н. Раевской к Н. Н. Раевскому по возвращении из Одессы 21 декабря 1823 года. — «Неизданные письма М. Н. Волконской». «Труды Гос. исторического музея», вып. II. М., 1926, стр. 13—15; в публикации «се 21 X — bre ошибочно переведено: «21 окт.». Год проставлен неверный: «1824?».

[66] В конце мая — начале июня.

[67] «Верная супруга, графиня» (и т а л.).

[68] «Какая наглость!» (ф р а н ц.). П. И. Б а р т е н е в, К биографии Пушкина. Из черновых его рукописей, хранящихся в Московском публичном музее. «Русский архив», 1884, № 5, стр. 188.

[69] Конечно, Пушкин имел в виду не одноименную старую оперу Пьетро Гульельми, поставленную в Неаполе в 1772 году и в Вене в 1776 году.

[70] Разыскания не увенчались успехом.

[71] В Москве либретто этой оперы не оказалось. В Ленинграде отыскалась партитура этой оперы в двух действиях со вписанным под нотами текстом либретто на итальянском языке. Находится она в Нотной библиотеке театра имени Кирова. Шифр: 11 р. 118. Инв. 3308. Приношу благодарность Т. Е. Киселевой и Н. Н. Загорному за эти поиски. Глубоко признательна я покойному И. А. Лихачеву за чтение трудночитаемого итальянского текста, вписанного старинным почерком, при этом не слишком грамотно, в партитуру.

[72] «Графиня Воронцова и Ольга Нарышкина приехали два дня назад», — пишет В. Ф. Вяземская мужу в письме, начатом 25 июля («Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2. Спб., 1913, стр. 135. В подлиннике — по-французски). Уточнение даты приезда — в письме от 26 июля М. И. Лекса из Одессы к И. П. Липранди: «Третьего дня графиня возвратилась морем в Одессу и на сих днях едет в Белую Церковь» (Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф. 435 — И. П. Липранди). Сообщено Н. Я. Эйдельманом

[73] «Летопись», стр. 495—496.

[74] «Летопись», стр. 498. В подлиннике — на французском языке.

[75] «Рукою Пушкина», стр. 837—838.

[76] «Летопись», стр. 499.

[77] См.: «Полярная звезда». Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева в восьми книгах. 1855—1869. Вольная русская типография. Лондон — Женева. Факсимильное издание. Книга первая. М., «Наука», 1968, стр. 123; Книга девятая. Комментарии и указатели к I—VIII книгам. М., изд-во «Наука», 1968, стр. 130.

[78] П. И. Б а р т е н е в. Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских (записано в разное время с позволения обоих). «Русский архив», 1888, № 7, стр. 306.

[79] «Летопись», стр. 479.

[80] И. И. П у щ и н, Записки о Пушкине и письма. Редакция и биографический очерк С. Я. Штрайха. М.—Л., 1927, стр. 84.

[81] «Летопись», стр. 482.

[82] Т а м ж е, стр. 494.

[83] Т а м ж е, стр. 488.

[84] Т а м ж е, стр. 494.

[85] И. И. П у щ и н, Указ. соч., стр. 84.

[86] А. Л. В е й н б е р г, Граф М. С. Воронцов о Пушкине. «Московский пушкинист», II, 1930, стр. 56 (в подлиннике — по-французски).

[87] Две последние фразы в подлиннике — по-французски. «Летопись», стр. 611.

[88] Б. Л. М о д з а л е в с к и й, Библиотека А. С. Пушкина. «Пушкин и его современники», вып. IX—X. Спб., 1910, стр. 138—139. Б. Л. Модзалевский не узнал почерка Пушкина.

[89] Д. П. Якубович, установивший, что записи сделаны Пушкиным, писал: «Трудно предположить, что Пушкин сам купил для себя «Альманах, посвященный дамам». Естественнее, что изящный иностранный календарик на текущий год, оставшийся незаполненным до конца мая 1824 года, был подарен Пушкину незадолго перед этим какой-либо из дам его одесского окружения, например Е. К. Воронцовой, всегда имевшей под рукою свежие новинки заграницы» (Д. П. Я к у б о в и ч, Неизвестные автобиографические записи Пушкина. — «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. 6, М. — Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 32. Там же воспроизведены эти записи и факсимиле).

[90] Это понял М. А. Цявловский, подготовляя к печати публикацию «Из записей П. И. Бартенева (О Пушкине и гр. Е. К. Воронцовой)». «Известия Академии наук СССР, серия литературы и языка», т. XXVIII, вып. 3, 1969, стр. 267—276. Правильность этой догадки подтвердилась впоследствии текстом нижеприведенного письма В. Ф. Вяземской к мужу от 1 августа 1824 года, которое я обнаружила в 1957 году, через десять лет после смерти М. А. Цявловского.

[91] Предположение М. А. Цявловского.

[92] Д. П. Я к у б о в и ч, Указ. соч., стр. 33—34.

[93] ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 3275, лл. 200—203 об. Письмо это отбилось от основного массива писем В. Ф. Вяземской к мужу из Одессы за 1824 год и не попало в публикацию этих писем, сделанную В. И. Саитовым в «Остафьевском архиве князей Вяземских», т. V, вып. 2. СПб., 1913. Текст письма в подлиннике — на французском языке (приводим его с сокращениями). Перевод принадлежит И. А. Лихачеву.

[94] Слова «в особенности» вписаны.

[95] Слова «да и серьезно лишь с его стороны» приписаны.

[96] Слова «уездного города Порхова» написаны по-русски.

[97] Дети, привезенные В. Ф. Вяземской в Одессу, — шестилетний Николай (30.IV.1818—9.I.1825) и двухлетняя Надежда (15.I.1822—28.XI.1840).

[98] Лев Александрович Нарышкин (1785—1846) — двоюродный брат М. С. Воронцова, и жена его Ольга Станиславовна, урожденная графиня Потоцкая (1802—1861), красавица, близкая приятельница Е. К. Воронцовой.

[99] Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863), приятель Вяземского. Состоял при главнокомандующем в Москве Ф. В. Ростопчине и его преемнике до 1832 года для дипломатической переписки по секретной части. С 1832 года московский почтдиректор.

[100] М. С. Воронцов.

[101] Именины Веры Федоровны.

[102] Вяземская имеет в виду следующие строки в письме мужа от 21 июля: «Из Петербурга пишут и уверяют, что ваш одесский Пушкин застрелился. Я так уверен в пустоте этого слуха, что он меня нимало не беспокоит» («Летопись», стр. 495).

[103] Вероятно, слуга Вяземских.

[104] Эти 600 рублей — карточный долг Пушкину Автонома Петровича Савелова, чиновника одесской таможни. Вяземская от него денег не получила. Долг Вере Федоровне тяготил Пушкина. Он отослал его Вяземской с Пущиным в январе 1825 года.

[105] Из письма М. С. Воронцова к П. Д. Киселеву от 6 марта 1824 года. «Летопись», стр. 445.

[106] См. «Летопись», стр. 462—463.

[107] В публикации «Отрывок из письма А. Пушкина, перехваченного на почте» — «Полярная звезда на 1861». Книга шестая. Лондон — Женева, 1861, стр. 123.

[108] Д. П. Якубович, Указ. соч., стр. 33.

[109] Сообщено мною в статье «Неясные места биографии Пушкина». Сб. «Пушкин. Исследования и материалы», т. IV. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 33.

[110] Пещуров Алексей Никитич (1779—1849) — опочецкий предводитель дворянства.

[111] С этим чудовищем, выродком (франц.).

[112] Беловой текст первой редакции стихотворения «К морю» переписан во «вторую масонскую тетрадь» (ПД, № 835), которой Пушкин стал пользоваться в Михайловском в самом начале прибытия туда.

[113] Датировано стихотворение «Храни меня, мой талисман...» в Академическом издании очень широко: «предположительно августом 1824 — первой половиной 1825 года» (II, 1161).

[114] Много позднее эксперты прочли этот текст, оказавшийся еврейской надписью о принадлежности перстня какому-то раввину: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память» (А. С. Пушкин. Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV, Спб., 1910, стр. XXIV—XXV, комментарий Н. О. Лернера).

[115] О «Талисмане» Пушкина см.: «Из записей П. И. Бартенева», стр. 267—268.

[116] См. «Рукою Пушкина», стр. 301—302. Эти инициалы расшифровывались по-разному. См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева», стр. 272.

[117] Стихотворение «Пускай увенчанный любовью красоты...», датировано в Академическом издании «предположительно сентябрем — декабрем 1824 года» (II, 1151).

[118] В 1828 году Пушкин значительно переработал стихотворение и прибавил к нему еще один фрагмент. Печатается в Сочинениях Пушкина эта вторая редакция, и помещается она среди стихотворений 1828 года (III, 130). Вот почему первой редакции читатель не знает, как не знает он и того, что стихотворение написано в 1824 году.

В 1835 году Пушкин ввел стихи в повесть «Мы проводили вечер на даче...» (VIII, 422—423), а затем, оставив этот замысел, перенес их в повесть «Египетские ночи», где они должны были стать стихами импровизатора (VIII, 274-276).

[119] К тому, что пушкинская Прозерпина — это выраженный в поэзии образ Воронцовой, уже приходил М. О. Гершензон. См. об этом в статье М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева...», стр. 269 и 271.

[120] Рукопись эта воспроизведена в Академическом издании, т. II, стр. 350/351.

[121] До него Н. О. Лернер (известный пушкинист старшего поколения) считал это стихотворение обращенным к четырехлетней дочери Воронцовой. А некоторые современные авторы связывают стихотворение «Младенцу» с ребенком дворовой девушки Пушкиных Ольги Калашниковой, над которым будто бы Пушкин не смеет произносить благословения. Они оставляют в стороне то, что родила она через два года после написания стихотворения.

[122] Так читает эти строки Б. П. Городецкий в книге «Лирика Пушкина». М. — Л., 1962, стр. 290.

[123] См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева...», стр. 276.

[124] Во время писания романа «Пушкин в изгнании» И. А. Новиков сделал несколько биографических открытий, которые сообщил предварительно на одном из заседаний Пушкинской комиссии Академии наук (13 марта 1935 г.), а затем уже ввел в роман. Среди них — о стихотворении «Младенцу».

[125] Анна Александровна Пушкина (1866—1949), внучка поэта.

[126] Александр Александрович Пушкин (1833—1914), старший сын поэта.

[127] Женился А. А. Пушкин 18.I.1858 г., Наталья Николаевна умерла 26.XI.1863 г. Рассказала она сыну семейную тайну в эти последние годы своей жизни.

[128] В докладе «Пушкин в селе Михайловском в 1824—1826 годах», прочитанном в Пушкинской комиссии Академии наук СССР 13 марта 1935 года, И. А. Новиков высказал предположение, что Пушкин в своем незавершенном стихотворении «Младенцу» разумел своего ребенка от Воронцовой. (См. указанную статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева», стр. 276.)

[129] Роман И. А. Новикова «Пушкин в Михайловском». М., 1936, стр. 111—114; его же роман «Пушкин в изгнании». М. — Л., 1947, стр. 450—452; изд. 1953 г., стр. 515—517.

[130] См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева».

[131] Вдова внука поэта Григория Александровича Пушкина — Юлия Николаевна Пушкина (1873—1967).

[132] Соображения С. М. Бонди.

[133] В подлинном тексте «Воспоминания» написаны на французском языке. Опубликованы они — «Mémoires du prince M. Woronzow. 1819—1833» в издании «Архив князя Воронцова». Книга XXXVII. М., 1891, стр. 63—102. Ниже записи Воронцова даются в переводе.

[134] См. там же, во Введении П. И. Бартенева (стр. XI ненумерованная).

[135] В главе «1820» сказано: «В начале этого года Лиза родила дочь, которую мы потеряли через несколько дней после ее рождения» (стр. 70).

В главе «1821»: «В Лондоне родилась наша дочь Александрина» (стр. 71).

В главе «1822»: «...Лиза тем временем родила сына, который был назван Александром и которого мы имели несчастье потерять год спустя» (стр. 72).

В главе «1823»: «23 октября моя жена родила нашего дорогого Семена» (стр. 73).

В главе «1826»: «В Петербурге я получил известие о рождении сына, который был назван Михаилом и которого, к несчастью, мы потеряли позднее, в Англии» (стр. 78).

[136] В главе «1832»: «Мы провели начало 1832 года в Лондоне с поездками в Брайтон, где мы поместили на время нашего сына Семена в школу, а наша дочь Софья была помещена тоже временно к госпоже Перси, также в Брайтоне» (стр. 96—97).

[137] Четвертой умерла девятилетняя дочь. В главе «1830»: «Тем временем мы были под угрозой большого семейного горя: наша старшая дочь Александрина, рожденная под Вашим покровительством в Лондоне в 1821 году, тяжело болела некоторое время золотухой. Все средства были перепробованы, и было решено, что мать свезет ее в Вену» (стр. 88—89). «В половине сентября <...> я отправился соединиться с моей женой. Я узнал дорогой о несчастии, которое уже поразило нас, то есть о смерти нашей дорогой и чудесной дочери» (стр. 95).

[138] Об этом письме А. Н. Раевского к Пушкину и о разных интерпретациях его в Пушкиниане см. в статье «Из записей П. И. Бартенева», стр. 269.

[139] Догадка С. М. Бонди.

[140] Этот рисунок Пушкина, а также стихи, обращенные к четырехлетней дочери Воронцовой Александрине, до нас не дошли.

[141] Александрия — имение матери Воронцовой, где Елизавета Ксаверьевна жила, как мы знаем, с начала августа 1824 года.

[142] См. статью «Из записей П. И. Бартенева», стр. 269.

[143] В сознание читателей старшего поколения эти строки вошли в искаженном виде:

Так на п[оследние] страницы Пылая капает сургуч.

Так напечатано в издании: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. Ред. вступ. статьи и комментарии Валерия Брюсова. Т. I. ч. I, 1919, стр. 258.

[144] И. А. Новиков доказывал, что «Все в жертву памяти твоей...» обращено к А. П. Керн.

[145] 23 ноября (франц.).

[146] Разыскания Б. В. Томашевского. Я не обнаружила этого села ни на старых, ни на новых картах.

[147] Против этого традиционного толкования протестовал В. В. Вересаев («Спутники Пушкина», т. I, 1937, стр. 314). Автор «Летописи жизни и творчества Пушкина» М. А. Цявловский внес «Ангела» в список стихотворений, вызванных Воронцовой.

[148] М. О. Гершензон, История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 50.

[149] Н. В. Измайлов, Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон. «Временник Пушкинской комиссии. 1962». М. — Л., 1963, стр. 33. Исправление французского текста по фотокопии рукописи — «quelques ombres dans son teint» (вместо «son oeil») и — соответственно и перевода — «некоторую черноту в цвете лица» (вместо «в глазах») принадлежит Н. А. Раевскому — в его печатающейся книге «Когда портреты заговорили» (Алма-Ата, 1974).

[150] «Важен» следует здесь понимать в значении: серьезен, исполненный глубокого содержания.

[151] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 188.

[152] <П. И. Бартенев>. «Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских. (Записано в разное время, с позволения обоих.) «Русский архив», 1888, № 7, стр. 312.

[153] На сходство этих последних текстов обратил внимание Ю. Г. Оксман в

комментариях к «Арапу Петра Великого». См. А. С. Пушкин, Собр. соч. в шести томах. М.—Л., «Academia», т. IV, 1936, стр. 716—717.

[154] Л. С. Пушкин, Биографическое известие об А. С. Пушкине до 26-го года. В кн.: Л. Майков, Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. Спб., 1899, стр. 11.

[155] Письмо С. Н. Карамзиной от 25 апреля 1837 года к брату Андрею. В кн.: «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов». М. — Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 202.

[156] «Архив князя Воронцова», книга XXXVII. М., 1891, стр. 81.

[157] Об этом было известно уже и в Москве. П. А. Вяземский писал оттуда 2 ноября 1827 года жене в село Мещерское: «Воронцов с женою в Петербурге. И Александр Пушкин там. То-то, я думаю, разыгрывает комедию» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I — ед. хр. 3267, л. 178).

[158] См. в той же автобиографии М. С. Воронцова, стр. 81.

[159] Здесь примечание Д. П. Якубовича. Ср. также сб. «Рукою Пушкина», стр. 321.

[160] Здесь примечание Д. П. Якубовича: «Литературный архив», т. I, 1938, стр. 53—57.

[161] Здесь примечание Д. П. Якубовича: «Можно расшифровать и так: 2 <me> lett <re> (второе письмо). Ср. запись 12 декабря.

[162] Д. П. Якубович, Неизвестные автобиографические записи Пушкина. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». Т. 6. М. — Л., 1941, стр. 34—35.

[163] ЦГАОР, фонд 828 (кн. А. М. Горчакова).

[164] Тетрадь Пушкина № 2371 (ныне — ПД, № 838), л. 48. В книге «Рукою Пушкина», стр. 317, где дана транскрипция этих интимных записей поэта, инициалы Воронцовой по ошибке пропущены.

[165] См. «Рукою Пушкина», стр. 629—637.

[166] Там же, стр. 629.

[167] См. Т. Цявловская, Рисунки Пушкина. М., 1970, стр. 155 и 159 (прим. 32).

[168] Умозаключение, что это стихотворение является посвящением Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, было сделано Б. В. Томашевским. Догадка автора была основана на сопоставлении двух списков стихотворений Пушкина, намечавшихся поэтом к печати. Один из списков был начат в апреле 1830 года и окончательно завершен в начале сентября 1831 года. Другой переписан с предыдущего тогда же, в начале сентября 1831 года. «При переписке некоторые названия менялись, — пишет Б. В. Томашевский. — Так, в частности, вместо «к Е. W.» читаем «В последний раз». Очевидно, стихотворение это, печатаемое под произвольным названием «Расставание», посвящалось Елизавете Воронцовой». Выше Б. В. Томашевский объяснял: «Е и W вплетены в одну монограмму. Эту монограмму мы нашли еще в рукописи Пушкина 1826 года. С нее же начинается подпись французского письма Пушкину из Одессы от 26 декабря 1833 года, и, очевидно, буквы эти обозначают инициалы Елизаветы Воронцовой» (Б. Томашевский, Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925, стр. 115—117).

М. А. Цявловский, комментируя эти списки стихотворений, выражал большие сомнения относительно правильности гипотезы Томашевского («Рукою Пушкина», стр. 261). Когда вышла эта книжка Томашевского, да и долгое время спустя, очень мало еще было известно о взаимоотношениях Пушкина и Воронцовой, поэтому этот факт, вытекавший из сухого логического построения, не казался убедительным.

[169] В виде романса стихотворение было издано тогда же. Как поэтическое произведение Пушкин стихотворения не издал. Дважды вносил он его в список стихов, намеченных к помещению в III часть «Стихотворений Александра Пушкина», вышедшую в 1832 году, но в книге «Прощания» не было.

[170] Предположительно с 4 по 17 августа. См. названную «Автобиографию» Воронцова, стр. 96—97 и письмо Е. К. Воронцовой к А. М. Горчакову от 10 августа 1832 года (ЦГАОР, ф. 828, кн. А. М. Горчакова), из которого выясняется, что она покидает Петербург не 10/22 августа, как вспоминает Воронцов в своей «Автобиографии», а числа 17/29.

[171] См. М. Д. Беляев, Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников. Л., 1930, стр. 68.

[172] Сб. «Неизданный Пушкин». Пб., 1922, стр. 152—154.

[173] Пушкин, Полн. собр. соч. в шести томах. Под ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Т. IV, М. — Л., «Academia», 1936, стр. 711.

[174] Сноска в письме: «О трех повешенных».

[175] Этого до сих пор не замечали.

[176] См. Е. Б. Чернова, К истории переписки Пушкина и Е. К. Воронцовой. В книге: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». Т. 2. М.—Л., 1936, стр. 336—339.

[177] «Русский архив», 1894, № 4, стр. 573.

[178] Роман этот — «Рукопись, найденная в Сарагосе» — издан в СССР («Наука», 1968; «Художественная литература», 1971).

[179] «Русский архив», 1912, № 5, 159.

[180] Академическое издание. Справочный том. Изд-во АН СССР, 1959, стр. 71—72.

[181] Пушкин еще в апреле обещал Вяземской ответить вскоре и подробно на ее письмо.

[182] См. «Столкновение отставного камергера Раевского с князем М. С. Воронцовым». «Русская старина», 1885, ноябрь, стр. 403.

[183] М. О. Гершензон, Пушкин и гр. Е. К. Воронцова — в его книге «Образы прошлого». М., 1912, стр. 49.

В. Ф. Вяземская утверждала, что Воронцова была близка и с Пушкиным (в Одессе) и с Раевским (в Белой Церкви). (См. М. А. Цявловский. Из записей П. И. Бартенева, стр. 267.)

[184] «Из писем А. Я. Булгакова к его брату». «Русский архив», 1901, № 10, стр. 185 и 207.

[185] Там же, стр. 185.

[186] «Берегите наших детей» или «нашу дочь» (франц.). М. О. Гершензон, Пушкин и гр. Е. К. Воронцова, стр. 46.

[187] Раевский был по матери греческого происхождения (см. А. С. Пушкин. Письма. Под ред. и с прим. Модзалевского, т. II. М. — Л., 1928, стр. 367). Отсюда — южные черты его внешности (так же, как и у сестры его Марии Волконской), которые, ему могло казаться, передались дочери Воронцовой Софье.

Таким образом, всем четверым участникам этой сложной ситуации было ясно, что Софья — внебрачная дочь Воронцовой.

[188] К 1828 году у Воронцовых уже умерло двое детей. В живых было четверо: дочь Александра, родившаяся в 1821 году (до знакомства Воронцовой с Раевским), она умерла в 1830 году, сын Семен (родился в 1823 году), дочь Софья (родилась в 1825 году) и сын Михаил (родился в 1826 году). Таким образом, если Раевский сказал Воронцовой о своей дочери, то он говорил о Софье, которую, как мы видели, Пушкин считал своей дочерью.

[189] Приблизительно (франц.).

[190] <П. И. Бартенев>. «А. С. Пушкин», вып. II. М., 1855, стр. 98.